

ЛИТЕРАТУРА

Литература конца XIV—начала XV в. отмечена теми же предвозрожденческими чертами, что и вся культура этого времени. Она развивается очень интенсивно, в ней можно различить большое количество стилей и тенденций, большое разнообразие жанров и местных особенностей, но в целом чем она сложнее, тем больше она связана со своей эпохой, тем активнее подчиняется культурному единству эпохи.

В дальнейшем мы остановимся только на наиболее характерных и ведущих чертах литературы конца XIV—начала XV в.

Южнославянское и византийское влияние, сказавшееся в различных областях русской культуры, обильнее всего проявилось в литературе. Этому влиянию предшествовал особый интерес русских людей к Византии, к литературе переводной с греческого.

В Новгороде в XIV в. создаются своеобразные описания Константинополя. Новгород — город-коммуна, добившийся относительной самостоятельности еще в XII в. и управлявшийся на республиканский манер советом господ во главе с архиепископом, — был одним из наиболее крупных рассадников предвозрожденческих настроений. Нет поэтому ничего удивительного в той тяге к новому, которая заставляла новгородцев внимательно присматриваться к тому, что делалось в иностранных государствах и в Византии в первую очередь.

Главное, что притягивало внимание новгородцев в Константинополе, было начавшееся при Палеологах возрождение византийского искусства. Константинополь издавна славился исключительным богатством памятников искусства. В начале XIII в. Константинополь был городом величественных храмов, монументальных общественных построек, грандиозных дворцов. Сюда были в разное время

свезены произведения из Египта (обелиск около константинопольского ипподрома), из Дельф (бронзовая змеинная колонна — одна из подставок грандиозного треножника, сооруженного в V в. до н. э. союзными греческими государствами в память победы при Платее), из Италии, Малой Азии и т. д. Все это поддерживало в Константинополе ту атмосферу искусства, в которой жил этот город до завоевания его турками. Далеко не случайно, что новгородские паломники в Царьграде прежде всего описывают памятники искусства и делают это настолько тщательно, что описания эти представляют собой в настоящее время немалую помощь в археологическом исследовании Константинополя.

Отношение новгородцев к памятникам искусства ясно видно в новгородских описаниях Константинополя XIV в.: в «Страннике» знатного новгородца Стефана, «Сказании о Царьграде» и «Беседе о святынях Царьграда».¹

Все три произведения посвящены не столько церковным реликвиям, сколько памятникам искусства вообще. Речь в них и идет не только о мощах, иконах и храмах, но и о вполне светских достопримечательностях Константинополя: об императорском ипподроме («Подрумие»), статуе Юстиниана, о колонне и банях императора Константина, о статуях «Правосудов» и о мн. др.

Дело, однако, не только в том, что во всех этих описаниях Константинополя говорится о светских памятниках наряду с церковными, — дело в том, что и церковные и светские памятники описываются глазами ценителей искусства, профессиональных мастеров.

Бесспорно, например, что лучшие описания памятника императору Юстиниану, впоследствии разрушенного турками, принадлежат именно новгородским путешественникам. Эти описания поражают экспрессией, умением понять замысел художника, уловить динамику памятника.

Стефан Новгородец пишет: «Ту (около храма Софии, — Д. Л.) стоит столп чуден вельми толстотою и высоту и красотою, из далеча с моря видети его, и на верх его седить Иустиниан Великы на коне велми чуден, аки жив, в доспесе сороцинском, грозно видети его, а в руце яблоко злато велико, а во яблоце крест, а правую руку от себе простер буйно на полъдни (на юг) на Сороцинскую землю к Иеру-

¹ М. Н. Сперанский. Из старинной новгородской литературы XIV в. Л., 1934.

салиму». В этом лаконичном описании памятника дано и общее впечатление от него («грозно видети его»), и правильно определен его замысел («правую руку от себе простер буйно на полъдни на Сороциньскую землю к Иерусалиму»), и отмечена удачная постановка памятника («из далеча с моря видети его»), определен и непривычный для новгородца реализм изображения Юстиниана («велми чуден, аки жив»), отмечены и такие специальные детали, как сарацинский доспех, надетый на Юстиниане.

В другом новгородском описании Константинополя — в «Сказании о Царьграде» добавлены такие детали, которых нет ни в одном западноевропейском его описании и изображении: «... а противу ему 3 цари поганый тако ж медяны и на столпех, колена поклонили царю Устиану и города свои предают ему в руце. Тако рекл Устиань царь: „вся земля Сорочиньскаа под моею рукою“».

Не менее обстоятельны описания отдельных предметов. Ср. в «Сказании»: «Пред тем Спасом висело поникадило, ретяз (цепь) железна; к той ретязи привязан стьяляник с маслом, а под стьяляником стоит столпець камен, а на столпци чаша окована железом ковчезным; в тую чяшу масло капало с поникадила».

Такие же обстоятельные описания имеются и в «Сказании»: «Есть пред церковью чаша камена велика на столпе, а над чашею теремець свинцем побит; межю столпов брусьем каменым огорожена, по брусью вырезаны еуангелисты и апостоли, и столпы с вырезом. А войдя во церковь, поити к олтарю: пред алтарем на правой стороне есть ларець великъ, верх ларца распятие серебряно: в том ларци иный ларець; в 3-м ларци лежат страсти господни. Тот ларець златом окован».

Характерно, что каждое упоминание предмета сопровождается указанием на материал, из которого он сделан: «столпець камен», «ларець камен на столпци», «столп камен высок», «царь медян и конь меден», «яблоко злато», «чаша камена дорогаго аспида», «медведи камены и зубри камены», «желобы были аспидныи», «кольца железна», «столп аспиден велик», «на стулех на меденых», «правосуды ис черленаго мрамора». Новгородцы отмечают цвет мрамора, из которого сделаны предметы, его твердость, полировку: «от камени багряна», «от бела камени». В частности, Стефан описывает две колонны-столпа. Один столп «от зелена камени, прочернь, а други — Петров — тонок, аки бревенце,

велми красен, прочернь и пробель, аки дятлен» (т. е. похожий по расцветке на дятла), «и ту стоят стълпове от камени багряна, красни велми, пропестри, аспиду подобни; видети в них человеку лица своего образ, аки в зеркало».

Отмечают авторы и технику изготовления предметов, особенности их выделки: надпись писана на мраморе «рытию великою» (глубокой резьбой), Спас на стене «мусеею (мозаикой) утворен», икона, писанная Лукою, «окована гораздо», двери в Софии «окованы хитро велми», «страсти господни» во Влахернской церкви «прикованы железом, ковчег же сътворен от камени хитро велми», «вырезан Спас в камени в дорогом аспиде», «столп окован пятью на десять обручи железными», «теремец свинцем побит», «распятие... в древе створено» и т. д.

На основании новгородских описаний Константинополя можно было бы составить целый словарь производственных ремесленных терминов.

Особенно отмечают новгородцы строительную технику. В Софии Стефан Новгородец обратил внимание, что она поставлена на цистернах — «колодцах». На эти же цистерны еще раньше обратил внимание и Антоний Новгородец. Эта особенность Константинопольской Софии действительно примечательна. Храм строился на почве не одинаковой устойчивости; поэтому фундамент Софии клался на сеть сводов, покрытых толстым слоем бетона. Под этими сводами и находились колодцы-цистерны.²

Отмечает Стефан и то, что церковь в Студийском монастыре «велика велми и высока, полатою сведена»; отмечает он и превосходный мозаичный пол в ней: «... а дно церковное (пол церкви) — много дивитися: аки женчюгом иссажена, и писцу тако не мощно исписати». Особенно поразил автора «Сказания» водопровод в банях императора Константина. Водопровод этот был аспидный: «... вода возведена была там и корыта аспидна, желобы были аспидны». Отмечает автор «Сказания» и техническое устройство императорского стадиона: «То было игрище многими чюдесы украшено да и еще много знамении на нем еще есть: столпов 30 стоять от Великого моря, да у всякого столпа колца

² См.: там же, стр. 65 (со ссылками на Джелала Эссада: «Константинополь», М., 1919, стр. 110—111; W. R. Lathaly and Harold Swainson. The Church of Sancta Sophia Constantinople. A study of Byzantine Building. London—New York, 1894).

железна, а верху столпов брусьем каменым переходы измощены от крайнего столпа до крайнего». На левой стороне этого «игрища» есть «столп аспиден велик, поставлен на стулех на медных, а стула медянаа поставлена на великом камении; а поднимало столп 16 человек; на том столпе вырезаны людцы малы». Из краткого замечания автора «Сказания», что поднимало столп 16 человек, виден его интерес и к технике строения.

Интерес строителя виден у автора «Сказания» и из его кратких похвал строителям. Так, о монастыре Перивлепты он замечает: «манастырь Перивлепты хорошо здан» — не «красив» сам по себе, как сказал бы обычный зритель, а «здан» (создан) — как мог сказать только человек, близкий к строительному делу.

Обращает на себя внимание и похвала константинопольской гавани у Стефана Новгородца: «От Подрумия поити мимо Кандоскалии: ту сут врата городная железна решадчата велика велми; теми бо враты море введено внутрь города; и коли бывает рать с моря, и ту держат корабли и катарги (галеры) до треусот. Имеет же катарга весл 200, а иная 300 весел; в тех судех по морю рать ходить; а оже будет ветер, а ини бежат и гонят, а корабль стоит — погодия ждеть». Гавань Константинополя — Золотой Рог — действительно была одной из лучших в мире, и то, что ею восхищается Стефан, житель портового города Новгорода, не удивительно.

Новгородцы в Константинополе не были простыми зрителями, наивными путешественниками, попавшими в не знакомый им город. Одна из самых поразительных черт новгородских путешественников — это их хорошее знакомство с историей Византии, с историей Константинополя, интерес к истории тех памятников искусства, которые они видели. Новгородцы отнюдь не походили на малосведущих туристов, способных восхищаться лишь внешней стороной тех мест, в которые они попадают. Перед нами образованные люди, ассоциирующие увиденное с теми сведениями, какие они получили у себя в Новгороде.

Рассказ о виденном постоянно перемежается с историческими справками, с легендами и сведениями из житийной литературы. Говоря об иконе Спаса в Софии, Стефан замечает: «... о той иконе речь в книгах пишется», имея в виду, очевидно, Хронику Манассии или заимствование из нее в Хронографе и Четьих Минях.

Новгородцы особо интересуются всем тем, что свидетельствует о связях Византии с Русской землей. Они приводят рассказы своих предшественников — русских паломников. Отмечают, что ходили к константинопольскому патриарху Исидору и целовали ему руку «понеже бо велми любит Русь» (Стефан Новгородец). В Студийском монастыре они особо отмечают, что «ту жил Феодор Студиски и в Русь послал многы книги: Устав, Триоди и ины книги». Говоря о палате императора Константина, о памятнике императору Юстиниану, о гробе Иоанна Златоуста, о пленении Константинополя «фрягами», т. е. крестоносцами, паломники не дают русским читателям каких-либо объяснений, предполагая в них осведомленных и образованных людей. И действительно, история Константинополя была в XIV в. известна в Новгороде и по Еллинскому и римскому летописцу, и по переводам византийских хроник, по «Сказанию о Софии Константинопольской», по «Повести о взятии Царьграда фрягами» в 1204 г., отчасти по русским летописям, Житию Василия Нового и других греческих святых и многим другим сочинениям, не исключая и предшествующих паломников XII в. В частности, легенда о нашествии Хозроя, рассказываемая Стефаном Новгородцем, была известна на Руси по переводной статье «О неседалном».

Наконец, что особенно показывает в новгородских путешествниках настоящих ценителей искусства, — это их возмущение и скорбь по поводу варварского разрушения памятников византийской старины крестоносцами.

Описывая дворец императора Константина, автор «Сказания» пишет: «Есть на цареве дворе узорочье: над морем высоко вельми поставлен столп камен, а на том столпе 4 столъпци каменных, и на тых столпцех положен камен, а в том камени вырезаны псы крылаты и орли крылаты камены и бораны камены; бораном рога збиты, да и столпы обиты; то же били фрязове, коли владели Царимградом, и иных узоречей много потеряли».

Описывая статуи «правосудов», стоящие на главной — «Великой» — улице Константинополя, автор «Сказания» замечает: «... да гораздо было сотворено, как люди; попортили их фрязове: один перебит на двое, другому руки и ноги перебиты и носа сражено».

В «Беседе о святынях Царьграда» имеется подробное и очень интересное описание бани императора Константина

(описание это отсутствует в «Сказании»). В «Беседе» отмечается устройство водопровода Льва Мудрого, своеобразного водораспределителя с семью разными струями, описывается статуя («болван») стрельца, фонарь с «латинским» — цветным стеклом и пр. В конце этого описания автор «Беседы» снова с огорчением отмечает разрушения, причиненные крестоносцами: они «оттерли» (т. е. отпилили) статуе голову и испортили водопровод, — «тем же многа фрязи истеряли узорочья».

Характерные особенности русских описаний Константинополя середины XIV в. лучше всего вскрываются при сравнении с одновременными им западноевропейскими путешествиями. Так, например, компилятивное путешествие Мандевиля, пользовавшееся огромным успехом в течение всего средневековья, в главе, посвященной Константинополю, занято главным образом религиозными легендами с нравоучительным и назидательным смыслом. В описании самого города очень мало фактического материала и много неточностей.

Интерес новгородцев к искусству — это отнюдь не интерес эстетов и гурманов. Это интерес мастеров, которым хочется узнать «что и как», узнать технику работы и историю памятника.

Исследователи многократно отмечали в литературе Новгорода ее простоту, деловитость, фактичность, отсутствие украшенности, любовь к бытовому просторечию, трезвый практический ум и здравость понятий. И действительно, сравнительно с литературами других областей литература Новгорода одна из самых простых, как просты и естественны памятники новгородского зодчества. Однако за этой внешней непритязательностью кроется настоящее чувство художников, ценителей искусства, умельцев и знатоков своего дела. Это была деловитость художников, делателей, зодчих, иконописцев, ремесленников, для которых искусство было делом жизни. В их подходе к памятникам искусства чувствуется профессиональная заинтересованность и настоящее понимание.

*

Интерес к Византии был одной из предпосылок для усиления на Руси влияния переводной литературы и литературы, перенесенной к нам из южнославянских стран, с ее новыми темами и новым стилем.

XIV век отмечен возрождением письменности и литературы в ряде славянских стран. Литературный подъем намечается и в Сербии, и в Болгарии, и на Руси.

Во всех трех странах — на Руси, в Сербии и в Болгарии, поддерживавших между собою тесное культурное общение, возникает своеобразное и единое литературное направление. Вырабатывается жанр витиеватых и пышных «похвал», первоначально обращенных к славянским святым, покровительствовавшим победам соотечественников. (В Болгарии эти первые похвалы составляются Иоанну Рыльскому и Илариону Мегленскому; в России одно из первых произведений этого нового литературного течения посвящено великому организатору Куликовской победы — Дмитрию Донскому (слово «О житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго»). Оно отчетливо сказывается в житиях Стефана Пермского и Сергия Радонежского, составленных замечательным писателем конца XIV—начала XV в. Епифанием Премудрым. Наконец, новый стиль резко сказывается в переводах исторических произведений (в Хронике Манассии, в «Троянской притче» и др.), интерес к которым неизменно растет с общим подъемом национального самосознания русского народа.

Новое движение выработало вкусы, определившие форму и содержание литературных произведений двух ближайших столетий. Это движение было чрезвычайно сложным. Оно было связано с идеями эпохи Предвозрождения, с пробудившимся интересом к человеческой личности, с начавшимися в XIV в. в Византии усиленными занятиями классической древностью и с филологической ученостью того времени. Новое литературное направление опиралось на особые работы по грамматике, по стилистике, по выработке сложной книжной литературной речи. Оно было связано с попытками унифицировать орфографию, самый почерк рукописей и с громадной переводческой работой: на славянские языки делаются многочисленные переводы с греческого, пересматриваются и исправляются старые переводы.

В результате всей этой огромной совместной работы славянских ученых были выработаны литературные принципы, способные передать пышность, торжественность тем и подъем чувств своего времени. Новая литературная школа привела к усиленному развитию литературного языка, к усложнению синтаксиса, к появлению многих но-

вых слов, в особенности для выражения отвлеченных понятий. В этом росте русского литературного языка стираются местные, областные различия и создается конкретная почва для объединения всей русской литературы. С трудами представителей нового направления литература и книжность окончательно теряют черты феодально-областной ограниченности и укрепляются ее связи с литературами южных славян.

Для определения сущности второго южнославянского влияния в России большое значение имело бы выяснение философского смысла проникшей на Русь евфимиевской книжной реформы — реформы принципов перевода с греческого, реформы литературного языка, правописания и графики, произведенной в Болгарии, но распространившейся и в других южнославянских и восточнославянских странах.

К сожалению, мы не имеем теоретических сочинений XIV—XV вв. об этой реформе. О смысле ее мы можем только догадываться. Между тем несомненно, что реформа эта имела очень большое значение в культурной жизни южно- и восточнославянских стран и была, по-видимому, одним из проявлений умственных движений XIV в. Она распространилась с очень большой быстротой, свидетельствуя тем самым о том, что она отвечала неким внутренним потребностям, имела для своих современников какой-то важный смысл. Она возбудила усиленную переводческую деятельность, поскольку старые переводы стали считаться неточными. Неудовлетворенность старыми рукописями заставляла интенсивно заниматься их исправлениями, их перепиской с соблюдением новых правил, понуждала ввозить в Россию новые, реформированные рукописи. Перед нами очень крупное явление умственной жизни, смысл которого до сих пор остается неясным.

Судить о смысле реформы болгарского патриарха Евфимия Тырновского мы можем только отчасти, по единственному сочинению ученика его ученика, сербо-болгарского ученого Константина Философа Костенческого. Сочинение это отнюдь не теоретическое, а скорее практическое, но в нем содержались и некоторые общие высказывания.³

³ И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. СПб., 1896. Наиболее полное и объективное изложение содержания сочинения Константина Костенческого содержится в книгах: К. М. Куjev. Konstantin Kosteneski w literature bulgarskiej i serbskiej. Kraków, 1950; В. Сл. Киселков.

В учении Константина Костенческого мы прежде всего замечаем то обостренное до фанатизма внимание, которое он уделяет значению каждого внешнего, формального явления языка и письма. Константин Костенческий исходит из убеждения, что каждая особенность графики, каждая особенность написания, произношения слова имеет свой смысл. Понять вещь — это правильно ее назвать. Познание для него, как и для многих богословов средневековья, — это выражение мира средствами языка. Слово и сущность для него неразрывны. Отсюда его чрезвычайное беспокойство о каждом случае расхождения между ними, которое может получиться от неправильного написания, от неправильной формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во всяком случае, к неправильным воззрениям. Поэтому главной задачей науки он считает создание правильного языка, правильной орфографии, правильного письма.

Он стремится уничтожить возможные неправильности в языке, орфографии и письме, пытается многочисленными примерами продемонстрировать теснейшую связь внешней формы слова и его значения, показать смысл каждой мельчайшей особенности орфографии и графики. Ереси происходят, по его мнению, от недостатков или излишеств в письме. Его крайне беспокоят все разногласия между списками, и он призывает казнь божью на тех, кто делает описки в рукописях, или, даже только зная об описках, не «обличает» их. Он исходит из положения, что каждая буква в слове имеет свое значение и способна изменить смысл речи. При этом он пытается видеть особый, внутренний смысл даже в буквах самих по себе, приписывает каждой из них свою индивидуальную роль. Он требует, например, соблюдать в письме строгое различие между *ѣ* и *е*, хотя отличия этих букв в произношении не ясны для него самого, и говорит о «естестве» букв. Буква *ѣ* для него «совершительная» (т. е. конечная), и она препятствует слиянию слов. Он обращает внимание на то, что *ы*, *ѣ* и *ь* никогда не начинают собою слов, и видит в этом признак их особого существа. Существенные смысловые различия видит Константин между *Ѡ* и *т*, устанавливает различия, присущие *ѡ* и *и*, например, в словах «мурный» и «мирный», устанавли-

Проуки и очерти по старобългарска литература. София, 1956, стр. 266—303.

ливают пять начертаний буквы о и т. д. Большое внимание уделяет он надстрочным знакам, каждый из которых подробно анализируется им в своем «естестве» («оксие», «даси», «вариа», «апостроф», «зернца», «периспомени» и т. д.).

Его чрезвычайно озабочивает реальное различие отдельных языков. Он понимает, что различия эти в корне подрывают его систему, и он стремится объяснить их, устанавливая своеобразные антропоморфические отношения языков: языки находятся в родственной зависимости друг от друга и, следовательно, должны в какой-то мере подчиняться своим «родителям». Еврейские «письмена и глаголы» — отцовские, греческие — материнские, славянские — дети. Отсюда необходимость стремиться во всем следовать греческому языку и греческим письменам.

Надо иметь в виду, что антропоморфические отношения между языками — существенная сторона мировоззрения Константина. Он сравнивает с людьми не только языки, но и буквы. Согласные — это мужчины, гласные — женщины; первые господствуют, вторые подчиняются. Надстрочные знаки — головные уборы женщин; их неприлично носить мужчинам. Свои головные уборы женщины могут снимать дома в присутствии мужчин: так и гласные могут не иметь надстрочных знаков, если эти гласные сопровождаются согласными.

Соответствие слова и сущности и исходящее отсюда требование абсолютной точности внешней формы слова касалось в представлениях Константина отнюдь не всех языков, а только тех, которые мы могли бы назвать церковными или «священными». Оно касалось языка науки или, что то же в представлениях того времени, языка церкви, священного писания и богослужения. Этот язык, по понятиям средневековья, не мог смешиваться с обыденным, он должен быть возвышенным, духовным. Литература светская (летописные записи, описания путешествий и т. д.) пользовалась особым литературным языком, близким к языку деловой письменности, но в котором также могла быть своя литературность, не похожая на литературность церковного языка — языка «церковнославянского».

Малейшая неточность в письме, орфографическая неустойчивость в «священном» церковном языке были, с его точки зрения, способны породить ересь; по существу они были уже сами по себе ересью, ибо между языком и пись-

менностью, с одной стороны, и явлениями мира — с другой, существовала, по мнению Константина, органическая связь.

Отсюда стремление Константина Костенческого к буквализму переводов, к полной унификации языка и письма, его многочисленные попытки орфографического разделения слов, близких в звуковом отношении, но различных по значению.

Требование абсолютной точности (орфографической, языковой и пр.) в передаче текстов священного писания объясняется и общим недоверием Константина к человеческому разуму. С точки зрения Константина, лишь священное писание способно раскрывать истину, поэтому оно именно должно передаваться со всевозможной точностью.

Константин Костенческий не был оригинален в своих воззрениях. Он был учеником ученика патриарха Евфимия Тырновского, а этот последний примыкал к исихастам.⁴

Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем — самого бога. Поэтому слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов, так же священно, как и само явление. Это учение о языке и слове было распространено Евфимием и его учениками на всю письменность. Вот почему буквализм и дословность пронизывают собой всю переводческую деятельность, ведя к образованию калек с греческого, к сложным заимствованиям синтаксических конструкций и к различным неологизмам.

Константин Костенческий называет письмена «божественными». Они предназначены для божественных истин. Учение исихастов о слове, молчании, божественном свете и имени божьем имело, как известно, неоплатонические корни.⁵ По Проклу, имя — энергия сущности, отождествляющая факт и смысл и его выражение. «Неизрекаемое молчание» — исходное начало диалектики слова.

⁴ См.: П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. 1. СПб., 1899. — Евфимий был близким учеником исихаста Феодосия Тырновского.

⁵ О связи философии исихастов с философией Платона и неоплатоников см.: П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XV веке, т. I, вып. 1, стр. 236—238 и стр. 187, прим. 1. Ср.: К. Радченко. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, стр. 123—126.

На системе Константина лежит тот же отпечаток «аристократизма», что и на всем новом стиле литературы XIV в.: это письменность для избранных, для небольшого числа ученых, и это литература для искушенных в чтении божественного писания. Евфимиевские правила отделяли церковную письменность от деловой точно так же, как стилистические приемы панегирической литературы возвышали ее над обыденной речью. Противопоставляя исправные книги «растленным», Константин утверждал, что первые предназначены для знатоков письменности, а вторые — для невежд. Знатоки будут чувствовать себя стесненными в неисправно написанных книгах, а невежды — в исправных.

Проникший в Россию в XIV в. южнославянский витийственный стиль был тесно связан с теми же воззрениями на язык, которые лежали в основе евфимиевских реформ.

Слово, по этому учению, было сущностью явления. Назвать вещи — значило понять их. С этой точки зрения языку (языку церковных писаний) отводилась первенствующая роль в познании мира. Познать явление — значит выразить его словом, назвать. Отсюда нетерпимое отношение ко всякого рода ошибкам, разноречиям списков, искажениям в переводах и т. д. Отсюда же чрезвычайная привязанность к буквализму переводов, к цитатам из священного писания, к традиционным формулам, стремление к тому, чтобы словесное выражение вызывало такое же точно настроение, чувство, как и самое явление, стремление создавать из письменного произведения своеобразную икону, произведение для поклонения, превращать литературное произведение в молитвенный текст.

«Плетение словес» основано на внимательнейшем отношении к слову — к его звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т. п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологически одинаковые окончания и т. п.), к тонкостям его семантики (сочетания синонимические, тавтологические и пр.), — на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого и пр. Кальки с греческого образуются из тех же побуждений, которые заставляли переводчиков буквально следовать греческим конструкциям (см. выше). Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов и т. д. исходили из тех же представлений о тождестве слова и сущности, божественного писания и божественной благодати, что лежали

и в основе реформы. Напряженные поиски эмоциональной выразительности, стремление к экспрессии основывались на том же убеждении, что житие святого должно отразить частицу его сущности, быть написанным «подобными» словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда бесконечные сомнения авторов и полные нескрываемой тревоги поиски выразительности, экспрессии, адекватной словесной передачи сущности изображаемого.

Стиль второго южнославянского влияния отразился только в «высокой» литературе средневековья, в литературе церковной по преимуществу. Основное, к чему стремятся авторы произведений высокого стиля, — это найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, «невещественное» в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни. Принцип этот диаметрально противоположен тому, который выдвигается искусством нового времени, — той «жажде конкретности», которую Карлейль считал вечной основой искусства и которая на самом деле относится по преимуществу к искусству XIX—XX вв. В средние века мы, напротив, можем отметить жажду отвлеченности, стремление к абстрагированию мира, к разрушению его конкретности и материальности, к поискам символических богословских соотношений, и только в формах письменности, не осознававшихся как высокие, — спокойную конкретность и историчность повествования.

Язык высокой, церковной литературы средневековья обособлен от бытовой речи, и это далеко не случайно. Это — основное условие стиля «высокой» литературы. «Иной» язык литературы должен был быть языком приподнятым и в известной мере абстрактным. Привычные ассоциации высокого литературного языка средневековья характерны тем, что они отделены от обыденной речи, возвышены над нею и оторваны от конкретного быта и бытовой речи. Чем больше разрыв между литературной речью и речью бытовой, тем больше литература удовлетворяет задачам абстрагирования мира. Отсюда проходящее через все средневековые стремление сделать язык высокой литературы языком «священным», неприкосновенным быту, не всем доступным, ученым, с усложненной орфографией. Из высоких литературных произведений по возможности изгоняется бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны, некоторые исторические припомина-

ния и т. д. Если приходится говорить о конкретных политических явлениях, то писатель предпочитает называть их, не прибегая к политической терминологии своего времени, а в общей форме, предпочитает выражаться о них описательно, давать названия должностей в их греческом наименовании, прибегает к перифразам и т. д.: вм. «посадник» — «вельможа некий», «старейшина», «властелин граду тому»; вм. «князь» — «властитель той земли», «стратиг» и т. д. Изгоняются собственные имена, если действующее лицо эпизодично: «человек един», «мужь некто», «некая жена», «некая дева», «некто в граде». Эти прибавления: «некий», «некая», «един» служат изъятию явления из окружающей бытовой обстановки, из конкретного исторического окружения.

Абстрагирование поддерживается постоянными аналогиями из священного писания, которыми сопровождается изложение событий жизни святого. Эти аналогии заставляют рассматривать всю жизнь святого под знаком вечности, видеть во всем только самое общее, искать во всем наставительный смысл.

Для «высокого» стиля средневековья характерны графические сочетания, привычный «этикет» выражений, повторяемость образов, сравнений, эпитетов, метафор и т. д. Если «в основе поэтической лексики» нового времени «лежит подновление словесных ассоциаций»,⁶ то в основе поэтической лексики средневековья лежат, напротив, именно привычные словесные ассоциации, но привычные не сами по себе, а в известной «высокой» ситуации — богослужебной или учено-богословской.

Условно-литературная привычность, повторяемость делает отвлеченными художественные образы и художественные понятия, тогда как необычность художественного образа, словосочетания обостряет читательское внимание к ним и конкретизирует их, делает их наглядными, материально-конкретными, подчеркивает их единичность. Формальная школа в литературоведении, как известно, обращала внимание только на второй «прием» в литературе, видя в нем вечную сущность искусства, обостряющего и обновляющего видение мира. Между тем этот «прием» в известной мере может быть отмечен лишь в конкретизи-

⁶ Б. В. Томашевский. Теория литературы. Л., 1927, стр. 14.

рующем искусстве нового времени. Искусство же средневековья в своих церковных жанрах стремится разрушить конкретность явлений, характеризуется стремлением к отвлеченному изложению, к художественной абстракции.

Литературно-шаблонные выражения и образы служат одним из существенных элементов «высокого» литературного стиля. Литературный язык средневековья полон условно-приподнятых трафаретов, тесно связанных с теми, которые привычны читателю по языку богослужебному, языку священного писания и сочинений отцов церкви. Эти условно-приподнятые трафареты, закрепленные неподвижным, не подлежащим изменению «основным фондом» чисто церковной литературы, переходят из произведения в произведение. Заимствования и компиляции, стремление избегать индивидуальных особенностей стиля составляют характерную черту литературы церковных жанров. В «Слове похвальном Петру и Павлу» иерусалимского пресвитера Исихиа обосновывается необходимость пользоваться другими произведениями для создания своего собственного. Работа писателя сравнивается с составлением букета цветов — цветов из других произведений. Чем авторитетнее круг произведений, из которых собираются писателем «цветы» его стиля, тем сильнее они настраивают читателя на благочестивый лад своею привычной приподнятостью, тем легче вызывают они благоговение и сознание «высоты» описываемого. Отсюда обилие цитат из священного писания, особенно из псалтыри, стилистическая роль которых в «высокой» литературе средневековья огромна и своеобразна.

Традиционность сравнений, аналогий, эпитетов, метафор и т. д. имеет и еще одно основание: традиционность их зависит от традиционности тех богословских представлений, которые лежат в их основе. Художественные тропы стремятся не к облегчению конкретно-ощутимого восприятия читателем описываемого, а к указанию на внутреннюю, религиозную сущность явлений, сущность, уже раскрытую богословием, а в литературе лишь вновь и вновь напоминаемую.⁷

⁷ Подробнее см.: Д. Лихачев. Средневековый символизм в стилистических системах древней Руси и пути его преодоления. — Сб. «Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию», М., 1956.

Все эти явления более или менее свойственны всей церковной литературе русского средневековья. Однако стиль русской церковной литературы времени второго южнославянского влияния вносит в эту абстрагирующую тенденцию чрезвычайно сильную и характерную особенность: до экзальтации повышенную эмоциональность, экспрессию, сочетающуюся с абстрагированием, отвлеченность чувств, приложенную к отвлеченности богословской мысли.

Это сочетание абстрагирующей тенденции с повышенной эмоциональностью удобно показать на особенностях употребления различных поэтических троп, и в первую очередь синонимов.

Синонимика в литературе нового времени необходима главным образом потому, что она позволяет выделить оттенки значения.⁸ Авторы нового времени пользуются синонимами, чтобы избежать повторения одних и тех же слов, чтобы подчеркнуть ту или иную сторону значения,⁹ выделить в синонимах семантические различия. В русском фольклоре художественная функция синонимов очень разнообразна. Наиболее распространенный тип синонимических сочетаний — сращения типа «правда-истина», «род-племя», «честь-хвала» и т. д. В этих парных сращениях особенности значения каждого слова сохраняются, и само сращение приобретает в своем значении особый, дополнительный, новый оттенок. Перед нами по существу новое слово, с новыми особенностями значения, новым кругом поэтических ассоциаций и как бы усиленное в своем значении.

Совсем другое мы находим в синонимических сочетаниях высокого стиля XIV—XV вв. Здесь синонимы обычно ставятся рядом, они не слиты и не разделены. Автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате, внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а самое общее, что есть между ними. Простое соседство синонимов устанавливает взаимоограничение между синонимами, стирает в них взаимоисключающие оттенки, значения, позволяет выделить

⁸ См.: А. П. Евгеньева. Язык русской устной поэзии (синонимия). — Труды Отдела древнерусской литературы, т. VII, М.—Л., 1949, стр. 172 и сл.

⁹ Там же.

в них основное: «огню горящу и пламени распалющуся», «на благый онь путь и на правоумышленное шествие», «и желания сердца моего дал ми, и хотения моего не лишил мя».¹⁰

Тому же служит и обычное в этом стиле нанизывание синонимических сравнений: «... яко некое съкровище многоценное, и яко драгый камень, и яко чудный бисеръ, яко съсуд избран». Сочетание сходных сравнений лишает их конкретности, не позволяет вниманию читателя задержаться на их осязаемой стороне, стирает все видовые отличия, сохраняя лишь самое общее и абстрактное и оставляя у читателя ощущение значительности того, о чем идет речь, ставя стилистический акцент на том, что синонимически повторяется. Нагромождение синонимов, синонимических сочетаний сходных сравнений, столь характерных для южнославянского стиля, не только абстрагирует изложение — оно до предела усиливает его экспрессивность и эмфатичность.

Той же цели абстрагирования изложения, с одной стороны, и усиления его экспрессии — с другой, служат особенно распространенные в «плетении словес» близкие синонимическим сочетаниям парные соединения сходных по значению слов. Авторы избегают употреблять одно понятие, один образ — они стремятся создавать либо целую цепь близких понятий и образов, либо парные понятия и образы, причем одно из понятий может быть видовым и конкретным, а другое (или другие) — родовым и более абстрактным, либо все понятия могут являться видовыми по отношению к объединяющему их родовому, которое только подразумевается, но в тексте отсутствует: «слышавши и видевши», «безмолствовал и единствовал» и т. д.

Авторы стремятся избежать законченных определений и характеристик. Они подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденным. Они без конца подчеркивают те или иные понятия и явления, привлекают к ним внимание, создают впечатление невыразимой словами глубины

¹⁰ В русском фольклоре, где имеются довольно разнообразные формы синонимии, представлены, кстати (хотя и не часто), и такие синонимические сочетания, которые по своей стилистической функции совпадают с синонимическими сочетаниями в русской книжности XIV—XV вв.: «закручинилися и запечалилися» (Сборник Кирши Данилова. Под ред. П. Н. Шеффера, СПб., 1901, стр. 21), «хитрая и мудрая» (там же, стр. 151) и др.

и таинственности явления, примата духовного начала над материальным. Зыбкость всего материального и телесного при повторяемости и «извечности» всех духовных явлений — таков мировоззренческий принцип, становящийся одновременно и принципом стилистическим. Этот принцип приводит к тому, что авторы широко прибегают и к таким приемам абстрагирования и усиления эмфатичности, которые, с точки зрения нового времени, могли бы скорее считаться недостатком, чем достоинством стиля: к нагромождениям однокоренных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д. Таковы соединения однокоренных слов: «начинающе ми начинание», «устрашистесь страхом», «запрещением запретить», «учить учением» и т. д. Некоторые из подобных однокоренных сочетаний свойственны русскому языку вообще, однако в ряде случаев нарочитость однокоренных сочетаний видна вполне ясно: «насытите сытых до сытости, накормите крѣмящих вас, напитайте питающих вы». ¹¹

Говоря о сочетаниях однокоренных слов, мы должны сказать и еще об одном явлении, связанном с этим, — о своеобразной игре слов, их «извитии». Это игра слов особого характера, она должна придать изложению значительность, ученость и «мудрость», заставить читателя искать «извечный», тайный и глубокий смысл за отдельными изречениями, сообщать им мистическую значительность. Перед нами как бы священнописание, текст для молитвенного чтения, словесно выраженная икона, изукрашенная стилистическими драгоценностями. «Печаль приат мя и жалость поят мя», — говорит о себе автор «Жития Сергия Радонежского». ¹² Одна из добродетелей того же святого — «простота без пестроты». ¹³ Ту же игру созвучиями, придающими речи особую афористичность, представляют и следующие примеры: «чадо Тимофее, внимай чтению и учению и утешению»; ¹⁴ «един инок, един възъединенный и уединенный и уединяся, един уединенный, един единого

¹¹ Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV в. Сообщил архим. Леонид, СПб., 1885, стр. 88.

¹² Там же, стр. 6.

¹³ Там же, стр. 35.

¹⁴ Житие Стефана, епископа пермского, написанное Епифанием Премудрым (подготовлено к печати В. Г. Дружининым). СПб., 1897, стр. 7.

бога на помощь призывая, един единому богу моляся и глаголя».¹⁵

Все эти приемы не столько способствуют ясности смысла, сколько затемняют его, но одновременно придают стилю повышенную эмоциональность. Слово воздействует на читателя не столько своей логической стороной, сколько общим напряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями и ритмическими повторениями. Жития этого времени пересыпаны восклицаниями, экзальтированными монологами святых, внутренними монологами,¹⁶ абстрагирующими и эмфатическими нагромождениями синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из священного писания и т. д.

Авторы житий постоянно говорят о своем бессилии выразить словом всю святость святого, пишут о своем невежестве,¹⁷ неумении, неучености, молятся о даровании им дара слова, сравнивают себя с неговорящим младенцем, со слепым стрелком; то признают свою речь «неудобренной», «неустроенной» и «неухыщенной», то приравнивают свою работу к хитрой работе паука, при этом сами слова оказываются дороже «тысящъ злата и сребра», дороже злата и топаза, дороже камня «самфира» и слаще меду.

Тем же поискам слова отвечают и неологизмы, стремление к которым особенно усилилось в XIV и XV вв. Эти неологизмы необходимы писателям, с одной стороны, потому, что такие лексические образования не обладают бытовыми ассоциациями, подчеркивают значительность, «духовность» и «невыразимость» явления, а с другой стороны, будучи по большей части составлены по типу греческих, придают речи «ученый» характер: «зломудрец» и «злона-

¹⁵ Там же, стр. 72.

¹⁶ В книге М. Фрийдмана (Melvin Friedman. Stream of consciousness: a study in literary method. New Haven, 1955) появление внутреннего монолога в русской литературе связывается с именами Толстого и Достоевского; между тем внутренний монолог чрезвычайно развит в древней русской литературе: он наличествует уже в «Житии Бориса и Глеба», сильно развивается в эпоху второго южнославянского влияния и представлен великолепными образцами в творчестве протопопа Аввакума.

¹⁷ Признание своего невежества автором — общее место многих литературных произведений и предшествующего времени, однако в XIV—XV вв. это признание из выражения монашеской скромности становится декларацией литературного характера: оно знаменует собой колебания в поисках слова, стремление адекватно выразить святость описываемого лица, благоговение к нему и т. д.

чинатель», «нищекрѣмие», «благолиственно», «многоплачье», «бесомолци», «горопленный», «волкохищный» и т. д. Неологизмы XIV—XV вв. вовсе не свидетельствуют о стремлении писателей этого времени к новизне выражения, они и воспринимаются не как нечто новое в языке, а как выражения ученые, усложненные и «возвышенные».

Как ни относиться к художественным целям, которые ставили себе авторы житийно-панегирических произведений конца XIV—XV в., необходимо все же признать, что они видели в своей писательской работе подлинное и сложное искусство, стремились извлечь из слова как можно больше внешних эффектов, виртуозно играя словами, создавая разнообразные симметричные сочетания, вычурное «плетение словес», словесную «паутину».

Особо следует остановиться на стремлении писателей XIV—XV вв. к словесной полноте. В «Житии Сергия Радонежского» находим замечательное высказывание автора: «Сытость бо и длѣгота слова ратникъ есть слуху, яко и премноженная пища телесем».¹⁸ С точки зрения автора «Жития Сергия», подобает «длѣготою слова послушателем слухи ленивы творити».¹⁹ Иными словами, цель писателя состоит в том, чтобы пространством словом, долгим описанием раскрыть уши слушателям, заставить их понять то, к чему они якобы неохотно, лениво прислушиваются. Это означает, что задача писателя — в экспрессии изображения, в настойчивом доведении до сознания читателя сведений о святом, создании у читателя благоговейного отношения к святому. Отсюда бесконечные повторения, крайнее замедление рассказа, заставляющее читателя обратить внимание на то именно, на что хотел его обратить автор, и усиливающее эмфатичность повествования, так как замедление рассказа почти всегда повышает его эмоциональность. Поиски «словесной сытости» заставляют авторов давать длинные перечисления («слезы тѣплыя, плаканія душевѣная, въздыханія сердечная, бдениа повсенощная, пенія трезвенная, молитвы непрестанныя, стояннѣя неседалная, чтеннѣя прилежная, колѣнопоклоненнѣя частаа»),²⁰ прибегать к перифразам («не отбежа абие ту от места того, не оттече инамо камо, и не отиде никамо же оттуда»),²¹ сочетать отрицание с ут-

¹⁸ Житие Сергия, стр. 22.

¹⁹ Там же, стр. 21—22.

²⁰ Там же, стр. 49.

²¹ Житие Стефана, стр. 27.

верждением противоположного («не победихом... , но паче весма побежени быхом»),²² разлагать, родовое понятие на все входящие в него видовые (вм. на «богослужение» — «на заутреню, и на литургию, и на вечерню»), приводить все виды того или иного понятия («болваны истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезаемы»),²³ перечислять признаки («кумиры глухи, болваны безгласныи, истуканы бессловесныи»)²⁴ и т. д.

Последние примеры ясно показывают, кстати, что стремление к абстрагированию явлений касалось лишь тех из них, которые следовало абстрагировать согласно богословским представлениям того времени; в тех же случаях, когда надо было заставить читателя отчетливо ощутить конкретность и материальность явления, авторы XIV—XV вв. умели это делать в высшей степени экспрессивно. Стремясь, например, подчеркнуть, что кумиры мертвы, материальны, что они «древо суще бездушно», Епифаний пишет: «...уши имуть и не слышать, очи имуть и не узрят, ноздри имуть и не обоняють, руже имуть и не осязають, нозе имуть и не поидуть, и не ходят, и не ступают ни с места, и не возгласят гортанми своими, и не нюхают ноздрями своими, ни жертв приносимых принимают, ни пьют, ни ядут».²⁵ Такая конкретизация и раскрытие «материальности» явления достигается с помощью той же «словесной сытости»: повторений, синонимических сочетаний, перечислений, разложения родового понятия на ряд видовых и т. д. Отличие от абстрагирования только в том, что для абстрагирования «духовное» характеризуется материальным, а материальное «духовным», в том же случае, когда необходимо создать впечатление полной конкретности и материальности явления, материальное характеризуется сугубо материальным же. Впрочем, это последнее встречается крайне редко. Приведенный пример с пермскими идолами — едва ли не исключение. Отсюда ясно, что абстрагирующие приемы стиля конца XIV—XV в. лежат в тесной связи с теми задачами, которые ставили себе писатели того времени, находятся в строгой зависимости от их мировоззрения и тотчас же отпадают, как только исчезает и сама необходимость в них.

²² Там же, стр. 41.

²³ Там же, стр. 35.

²⁴ Там же, стр. 45.

²⁵ Там же, стр. 28—29.

Ту же строгую зависимость стиля от мировоззрения писателя видим мы и в употреблении эпитетов. К эпитетам этого стиля меньше всего может быть приложено определение их как «украшающих». Обычно они раскрывают такие качества, которые необходимы писателю как христианину и ученому богослову. Эпитеты этого южнославянского стиля не стремятся к изобразительности и наглядности. В них вскрываются не конкретные признаки явления, а его «вечная» сущность; одновременно с помощью эпитетов писатель добивается сильной эмоциональной окраски описываемых явлений. Эпитеты подчеркивают по преимуществу идеальный признак предмета, признак, составляющий его «вечный» и духовный смысл:²⁶ «радостотворный плач», «богопустный гнев», «боговещательные молитвы», «победительная икона», «нестареемая благодать», «тленная слава», «любомльчное иноческое житие» и т. д. Иногда эпитет вскрывает не церковную сущность предмета, а его основное качество («чадолюбивый отец», «скорорищущие слуги») или представляет вместе с определяемым словом тавтологическое сочетание («многосветлый светильник», «воня благовонна» и пр.).

Стиль второго южнославянского влияния определяется художественными задачами, стоявшими перед писателями XIV—XV вв., главным образом перед агиографами. Художественное видение писателей этого времени значительно отличается от предшествующего, особенно в области агиографии, ставшей ведущим жанром эпохи. Это новое художественное видение — прежде всего новое отношение к человеку, сознание ценности его внутренней жизни, его индивидуальных переживаний — и заставляет писателей XIV—XV вв. обращать особое внимание на все стороны эмоционального выражения, на экспрессивность образов и т. д.

²⁶ В стиле второго южнославянского влияния встречаются те же самые типы эпитетов, которые отмечены А. П. Евгеньевой и для народной поэзии. Основой этих типов служат: «1) подновление нарицательного значения, т. е. смысловая тавтология, 2) подчеркивание выдающегося качества предмета, 3) указание на идеальный, желаемый признак или на самую высокую степень признака» (А. П. Евгеньева. О некоторых поэтических особенностях русского устного эпоса XVII—XIX вв. (постоянный эпитет). Труды Отдела древнерусской литературы, т. VI, М.—Л., 1948, стр. 165—166). Но те же типы в стиле южнославянского влияния служат другому мировоззрению, чем в народной поэзии, и поэтому эпитет по существу своему является совсем иным.

Но при этом стиль остается по-прежнему абстрагирующим. Познание мира раздвигается, художественные задачи расширяются, статичность описаний предшествующих эпох сменяется крайним динамизмом, но искусство не выходит еще из пределов религиозности и отнюдь не стремится к конкретизации. Поэтому самое характерное и самое значительное явление в изображении людей в житийной литературе конца XIV—XV в. — это своеобразный «абстрактный психологизм».

*

В чем заключается этот «абстрактный психологизм» конца XIV—начала XV в.? Удобнее всего продемонстрировать его на конкретных литературных произведениях.

Для каждой эпохи и для каждого литературного стиля существуют в литературе жанры и писатели, в которых эпоха и ее стиль отражаются наиболее ярко. Для конца XIV—начала XV в. таким самым «типическим» жанром явились жития святых, а наиболее, может быть, типичным писателем — уже неоднократно цитированный нами выше Епифаний, прозванный за свою начитанность и литературное умение «Премудрым». Епифаний долго путешествовал на Востоке, прекрасно знал греческий, а возможно и другие языки. Начитанность Епифания, отразившаяся в его сочинениях, поразительна. Епифаний отлично знает произведения современной ему и прошлой церковно-учительной, богословской, житийной и исторической литературы. В составленных им «житиях» обильно включены самые разнообразные сведения: географические названия, имена богословов, исторических лиц, ученых, писателей, а также рассуждения о пользе чтения книг.

Цветистую новую литературную манеру Епифаний довел до пределов сложности. Нагромождение стилистических ухищрений иногда подавляет читателя. Для характеристики какого-нибудь качества действующего лица Епифаний подбирает сразу до двух десятков эпитетов, создает новые сложные слова. Он достигает исключительного мастерства в создании ритмической прозы. Вся эта новая стилистическая манера связана у Епифания с новым отношением к человеку, с особым, типичным для его эпохи отношением к человеческой психологии.

Первоначально, в XI—XIII вв., в центре внимания русских писателей, особенно исторических, стояли поступки

человека, внешние события его жизни. Эти поступки мотивировались главным образом внешними для действующего лица обстоятельствами, но не его психологией, не его внутренней жизнью. Человек расценивался по преимуществу с точки зрения своего официального положения, которое он занимал на лестнице феодальных отношений. Князь обладал своими, княжескими добродетелями, боярин, подданный, дружинник, рядовой монах, святой, епископ — каждый своими, присущими его положению.²⁷ Психологические побуждения и переживания, сложное разнообразие человеческих чувств, дурных и хороших, сильных, экспрессивно выраженных, повышенных в своих проявлениях, стали заполнять собою литературные произведения только с конца XIV в. и с особой отчетливостью проявились в произведениях замечательного, далеко еще недооцененного русского писателя Епифания Премудрого, произведения которого свидетельствуют об очень высокой культуре слова того времени.

В центре внимания писателей конца XIV—начала XV в. оказались отдельные психологические состояния человека, его чувства, эмоциональные отклики на события внешнего мира. Но эти чувства, отдельные состояния человеческой души не объединяются еще в характеры. Проявления психологии не складываются в психологию. Связующее, объединяющее начало — характер человека — еще не открыто. Индивидуальность человека по-прежнему ограничена прямолинейным отнесением ее в одну из двух категорий — добрых или злых, положительных или отрицательных. Психологические состояния как бы «освобождены» от характера. Они могут поэтому меняться с необычайной быстротой, достигать невероятных размеров. Человек может становиться из доброго злым, при этом происходит мгновенная смена душевных состояний.

Согласно ортодоксальным взглядам церкви человек обладает свободой воли, он обладает свободой выбора между добром и злом. Выбрав добро, он может последовательно идти по пути добра и достичь святости; выбрав зло — пойти (тоже последовательно) по пути зла. Каждый человек может решительно изменить свой путь. Правда, после-

²⁷ См. подробнее: Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М.—Л., 1958, гл. II.

довательный праведник, вкусив истины, грешником не становится, но грешник на любой ступени своего падения может покаяться и стать сразу же праведником. Примерами таких превращений полна церковная литература XIV—XV вв. — превращений полных, не знающих компромиссов. Раз все зависит от решения человека выбрать добро или зло, — он до конца последователен в этом. Он либо до конца свят, либо до конца зол. В первом случае он свят до полной абстрактности, во втором — всегда может резко измениться, стать добрым. Вот почему в литературе этого времени нет характера. Характер — это нечто более или менее устойчивое в человеке; характер может развиваться, изменяться, но он не может «превращаться» только в зависимости от решения человека. «Превращения» же и чрезвычайная неустойчивость психологических состояний — характерная черта житийной литературы этого времени. Все психологические состояния, которыми так щедро наделяет человека житийная литература конца XIV—XV в., — это только внешние наслоения на основной, несложной внутренней сущности человека — доброй или злой, определяемой решением самого человека встать на тот или иной путь. Все психологические состояния — это как бы одежда, которая может быть сброшена или принята на себя.

В «Житии Стефана Пермского», написанном Епифанием Премудрым, все жители Перми ведут себя диаметрально противоположным образом до крещения их Стефаном Пермским и после него. Их психологические состояния и до и после крещения описаны резко различными чертами, они обуреваемы совершенно противоположными чувствами. При этом автора жития Стефана Пермского отнюдь не смущает то обстоятельство, что такая перемена произошла в целом народе и произошла без всяких промедлений. Прямолинейность характеристики объясняется здесь ее несложностью; все зависит здесь от одного акта крещения: до крещения Пермь описана целиком отрицательными чертами, после — целиком положительными. Загадочным с психологической точки зрения остается только сам акт крещения: как решили они креститься. Заслуга здесь приписывается и Стефану Пермскому и самим жителям Пермской земли, но в конечном счете это несомненное «чудо». Вот почему чудо в житийной христианской литературе — совершенно необходимая составная часть, сю-

жетная необходимость. Только оно вносит движение и развитие в биографию святого. Одна свобода выбора между добром и злом определить развитие личности еще не может.

Победа Стефана над язычниками — победа прежде всего психологическая. Злые и нетерпимые язычники обращаются в кротких и послушных последователей Стефана. Они «восхотели» креститься, «в сласть» послушали его проповедь, «с радостью» принимают его слова. Описание нового психологического состояния язычников и радости Стефана занимает несколько листов жития последнего.

Психологические «превращения» язычников потому и возможны, что у них нет никакой индивидуальной психологии, никаких постоянных качеств характера. Они потому злы, нетерпимы, потому так яростно нападают на Стефана, гонят его, питают к нему ненависть, что они язычники. Как только они крестятся, сердца их наполняются веселием, они с умилением слушают того же Стефана.

Перед нами проходит калейдоскоп различных психических состояний, различных душевных движений, страстей, чувств — всегда сильных до чрезмерности, никогда не останавливающихся на полпути, всегда доведенных до наиболее резкого выражения. И это возможно отчасти потому, что психология всех действующих лиц выражена очень неясно. Авторы описывают психические состояния, игнорируя психологию человека в целом, его характер. Чувства как бы живут вне людей, но зато пронизывают все их действия, смешиваются с чувствами автора, который постоянно стремится их выразить, придать эмоциональность своему повествованию.

Если в XII—XIII вв. изображения людей статичны и монументальны, напоминают геральдические фигуры, взяты как бы в их «вечном» смысле, то в житийной литературе конца XIV—начала XV в. все движется, все меняется, объято эмоциями, до предела обострено, полно экспрессии.

Авторы конца XIV—XV в. как бы впервые заглянули во внутренний мир своих героев, и внутренний свет их эмоций как бы ослепил их, они не различают полутонов, не способны улавливать соотношение переживаний. Писатель впервые видит внутренний мир человека; но он видит его пока еще «младенческим глазом», для которого раскрыты

краски, вся яркая пестрота огромного мира, но для которого эти краски еще не объединены в предметы, в объективно существующие реалии.

До крайней степени экспрессии доводятся не только психологические состояния, но и поступки, действия, события, окружающиеся эмоциональной атмосферой. Стефан Пермский сокрушает идолов, не имеет «страхования», он сокрушает их «без боязни и без ужаси», день и ночь, в лесах и в полях, без народа и перед народом. Он бьет идолов обухом в лоб, сокрушает их по ногам, сечет секирою, отсекает на члены, раздробляет на поленья, крошит на «ивереение», искореняет их до конца, сжигает огнем, испепеляет пламенем...²⁸

Повышенная эмоциональность отличает и поступки толпы язычников. Пермь нападает на Стефана «с яростию, и с гневом, и с воплем, яко бити и погубити хотяще, ополчишася на нь единодушно, и акы ликы ставше окрест его, напязаа напязгоша луку своя, и зело натянувше я на него, купно стрелам смертоносным сущим о луцех их, и прямолучными стрелами своими состреляти его жадаху, и тако прочее смерти его предати хотяху».²⁹ Все чувства обладают невероятной силой. Любовь к Кириллу Белозерскому влекла к нему Пахомия Серба подобно железной цепи, дружба Сергия Радонежского и Стефана Пермского связывает их с такою силою, что они чувствуют приближение друг к другу на далеком расстоянии.

Поступки, действия человека продолжают, как и раньше, в XII—XIII вв., играть важную роль в характеристике человека, в строении его образа. Однако, в отличие от летописных изображений людей, в житийной литературе изучаемого периода первостепенное значение приобретает даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает автор, эмоциональная характеристика подвига, всегда повышенная, как бы преувеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые факты, зло и добро абсолютизированы, никогда не выступают в каких-либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора — черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. Весть

²⁸ Житие Стефана, стр. 37.

²⁹ Там же.

о смерти Стефана «страшная», «пристранная», «пламенная», «горькая» и т. д.³⁰

Если автор употребляет сравнение, — он не заботится о том, чтобы оно могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен внутренний смысл событий, а не его внешнее сходство. Даже постройка церкви — дело конкретное и «материальное» — превращается в психологический акт. Епифаний говорит о пермской церкви Стефана: «... юже въздвиже чистою совестию, юже създа горящим желанием».³¹ Одним из средств этого абстрагирования поступков служит сравнение их с событиями «священной истории». Епифаний Премудрый сопоставляет проповедь христианства Стефаном Пермским среди Перми с проповедью Петра, Иоанна Богослова, Матвея, Филиппа, Фомы, Иуды, Симона Зилота Кананитянина, Варфоломея, Андрея, Павла. Одно только перечисление стран, где было проповедано «слово божие», занимает 3—4 страницы рукописи. Благодаря этому проповедь Стефана оказывается в ряду событий всемирной истории, имеющих первостепенное значение, но благодаря этому же она переносится в какую-то абстрактную область общих судеб человечества и всякая конкретность, сообщение реальных деталей оказываются почти исключенными.

Изобретение пермской азбуки Стефаном обставлено учеными справками относительно изобретателей других азбук. Здесь и в аналогичных случаях писатель становится эрудитом, начетчиком, богословом — «премудрым».

Уподобление героя тому или иному лицу в священном писании становится для автора своеобразной проблемой, когда ему нужно подобрать точную параллель. Автор колеблется, сомневается и перечисляет всех праведников, начиная от Адама: «Ангела тя нареку? — спрашивает автор «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», — но во плоти сущи ангелскы пожил еси. Человек ли? но выше человекьскаго существа дело свершил еси. Первозданного ли (т. е. Адама, — Д. Л.) тя нареку? но той приим заповедь Съдетеля и преступи... Сифа ли тя нареку? но того премудрости ради людие богом нарицаху». «Еноху ли тя подоблю?», «Ноя ли тя именую?», «Авраама ли тя нареку?», «Исаака ли тя въсхваляю?», «Израиля ли

³⁰ Там же, стр. 91.

³¹ Там же, стр. 22

тя възглаголю?»), «Иосифа ли ты явлю?» и «Моисея ли ты именую?»³² — автор последовательно отвергает каждое из этих уподоблений, так как находит различия в их подвигах. Поступок, действие, деятельность и здесь служат единственным основанием для сопоставлений. Все сравнения человека с теми или иными животными, птицами, предметами идут по линии сравнения его деяний. Сходство внешнего облика не интересует автора, — его интересует сходство действий, смысла этих действий. Зрительный, конкретный образ человека просто отсутствует.

Волхв, освободившийся от державших его людей, сравнивается Епифанием Премудрым с оленем: «Он же искочи от них, яко олень».³³ Ясно, что образ оленя применен не к самому волхву, но к его действию — к его бегству. Его бегство было такое же быстрое, как и у оленя, — сходство только в этом. Дмитрий Донской — это «высокопаривый орел...», «баня мьющимся от скверны, гумно чистоте, ветр плевелы развевая, одр трудившимся по бозе, труба спящим, воевода мирный, венец победе, плавающим пристанище (т. е. пристань, — Д. Л.), корабль богатству, оружие на врагы, мечь ярости, стена нерушима, зломыслящим сеть, степень непоколеблема, зеркало житию... высокий ум, смиренный смысл, ветром тишина, пучина разуму».³⁴ Этот способ характеристики человека чрезвычайно далек нашему художественному сознанию; он целиком объясняется художественным сознанием своего времени: индивидуальность человека абстрактна и неясна, характер человека еще не различается, — поэтому сравнивается в человеке не сам человек, а лишь его дело, деяние, поступки, подвиги, — по ним он и судится.

Отсюда то пристальное внимание, которое уделяют агнографы действиям, поступкам. При этом важно выявить значение действия, подчеркнуть его величие, то впечатление, которое оно произвело в народе, а не описать его конкретно. Все детали опускаются, как несущественные, а само действие оказывается преувеличенным, преувеличен и психологический эффект его. Из деталей сохраняются только те, которые способствуют этому эффекту. Отсюда обычные в литературе этого времени нагромождения вся-

³² Полное собрание русских летописей, т. VI, СПб., 1853, стр. 110.

³³ Житие Стефана, стр. 57.

³⁴ Полное собрание русских летописей, т. VI, стр. 106

ческих ужасов, шумные тирады действующих лиц, различного рода гиперболы. Говоря о том, что жители Перми, «яко зверие дивии», устремились на Стефана, Епифаний перечисляет их оружие, топоры и дреколие, отмечает, что топоры были «остры» и что этими острыми топорами толпа, обступив Стефана «отвсюду», хотела «осещи его, кличюще вкупе и нелепаа глаголюще, и бесчинныя гласы испущающе на нь, и окруживше его, сташа окрест его, и секырами своими възмахохуся на нь: и бяху видети его промежу ими, яко овца посреди волк».³⁵

Все строится на контрастах: яростная толпа противопоставляется кроткому Стефану, и чем яростнее толпа, тем более кротким кажется Стефан. Эффект действий увеличивается от того, что они совершают перед народом, при зрителях. Волхв в житии Стефана Пермского отказывается войти в костер, испугавшись «шума огненнаго», перед всеми своими сородичами: «... народу же предстоящу, человеком собранным, людем зрящим в очию леповидцам».³⁶ В житии Сергия Радонежского младенец Сергей вопит в утробе своей матери в церкви, во время литургии при многочисленном народе. Его голос слышен по всей церкви. В разыгравшемся затем диалоге между матерью Сергия и молившимися в церкви женщинами обе стороны ведут себя с преувеличенной чувствительностью. Мать «мало не паде на землю от многа страха, и трепетом великим» была одержима, жены же — воздыхают, бьют себя в перси, плачут. Присутствующие мужчины стоят «безмолвиемъ ужасни».³⁷

Экспрессивность действий подчеркивается длинными речами, которые произносят действующие лица. Эти речи должны изобразить отношение людей к событиям и, главное, их душевное состояние в связи с этими событиями. Они при этом отнюдь не индивидуальны, лишены характерности, изображают чувства абстрактно, с точки зрения автора, а не произносящего их лица. Вот как, например, говорит о своем нежелании войти в пламень вместе со Стефаном пермский волхв: «...немошно ми ити, не дерзаю прикоснутися огню, щажуся и блюду приблизитися множеству пламени горящу, и яко сено сый сухое, не смею воврещися, да не яко воск тает от лица огню, растаю, да не ополею яко воск и трава сухаа, и внезапу сгорю огнем и

³⁵ Житие Стефана, стр. 27.

³⁶ Там же, стр. 37.

³⁷ Житие Сергия, стр. 11—12

умру, и к тому же буду, и кая будеть полза в крови моей, егда сниду во истление, волшебство мое переимет ин, и будет двор мой пуст, и в погосте моем не будет живущаго». Эту речь волхв произносит трижды, «пометая себя, бивше челом, и припадаа к ногам» Стефана, «обавляше вину сущу свою, и немощь свою излагаа, суетство же и прелесть свою обличаа».³⁸

Прямая речь служит здесь для выражения душевного состояния действующего лица. Она насыщена в произведениях этого времени цитатами из псалмов, в ней произносятся слова молитв, но в ней нет «речевой характеристики» действующего лица. По стилю речь действующего лица не отличается от речи автора — она так же абстрактна, книжна, учена, пользуется теми же приемами. Длиннейшие речи могут вкладываться в уста толпы, язычники могут употреблять фразеологию псалмов, эмоционально-хаотическая риторика находит здесь такое же применение, как и во всем произведении в целом.

*

Новое в изображении человека может быть отмечено не только в житиях святых. Жанр житий только наиболее характерен для этого времени.

Особое значение в развитии представлений о человеке имеет Русский Хронограф — памятник середины XV в., очень близкий по стилю (хотя и не тождественный) русским житиям Епифания Премудрого, но имеющий и свои особенности в связи со своим полупереводным характером.

Русский Хронограф, как это блестяще доказано А. А. Шахматовым, восходит к Хронографу, составленному в России в 1442 г.³⁹ Пахомием Сербом (Логофетом).

Составитель Хронографа широко воспользовался всеми доступными ему в России материалами по всемирной истории. В качестве источников для своей компиляции составитель использовал вторую русскую редакцию Еллинского летописца,⁴⁰ существование которого уже для XIV в. было

³⁸ Житие Стефана, стр. 37.

³⁹ А. А. Шахматов. Обзорение русских летописных сводов XIV—XV вв. Л., 1938, стр. 135 и сл.

⁴⁰ Сам составитель Хронографа называет Еллинский летописец в качестве своего источника; рассказав о походе Олега, он прибавляет: «... сие пишет о нем в Греческом летописце». Об Еллинском

доказано А. А. Шахматовым.⁴¹ Кроме этого, составитель пользовался сербским сборником житий, в который входили «Паралипомен» Зоары, житие Стефана Лазаревича, сербская Александрия, житие Стефана Дечанского и житие Илариона Меглинского. Из другого источника составитель Хронографа воспользовался житием Саввы⁴² и переводом греческой Хроники Манассии.

Как доказано А. А. Шахматовым, уже составитель первоначальной редакции Русского Хронографа — Пахомий Логофет вставил в нее статьи русского содержания, воспользовавшись для этого русскими летописями⁴³ и русскими историческими повестями. Помимо этих привлеченных материалов, Пахомий Логофет добавил ряд статей собственного сочинения, из них главная — «Повесть об убиении Батыя».⁴⁴

Как бы ни были разнородны источники Хронографа, — принципы изображения в нем человека более или менее едины.

В Хронографе исторические факты были лишь материалом для литературно занимательного чтения, для моральных выводов. Русский Хронограф, в том виде, в каком он вышел из-под пера Пахомия, представлял собою цепь занимательных новелл. Риторическая шумиха и бесконеч-

летописце второй редакции см.: А. А. Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X века. — Византийский временник, т. VII, 1900; В. М. Истрин. Из области древнерусской литературы. Журн. Мин. нар. просв., 1903, № 10; А. А. Шахматов. Новая хронологическая дата в истории русской литературы. Журн. Мин. нар. просв., 1904, № 1; К. К. Истомина. 1) Слово о немецком прельщении. Христианское чтение, 1904, II; 2) Некоторые данные о протографе Еллинского летописца. Журн. Мин. нар. просв., 1904, № 7.

⁴¹ А. А. Шахматов. К вопросу о происхождении Хронографа. Сборник Отд. русск. яз. и словесн. Ак. наук, т. XVI, № 8, стр. 70.

⁴² Как это доказано Ягичем — в Феодосиевой, а не Доментиановской редакции (W. Jagitsch. Ein Beitrag zur serbischen Analistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung. — Archiv für slav. Philol., Bd. II, 1877, стр. 37).

⁴³ А. А. Шахматов предполагает, что эти летописи были ростовские. М. Д. Приселков утверждает, что это был свод Фотия (М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 148).

⁴⁴ В одном из списков XVI в. (список Ундольского, № 515), где в приложении к сказанию о Михаиле и Федоре Черниговских также имеется эта повесть, добавлено: «Творение ермонаха Пахомия св. Горы». «Повесть об убиении Батыя» приписана Пахомию впервые В. Ключевским (Древнерусские жития святых как исторический источник. СПб., 1871, стр. 147).

ное морализирование поднимали на ходули исторические события, лишали их той эпической документальности, которой отличались записи русской летописи. Вся мировая история в изложении Хронографа — цепь нравоучительных историй, рисующих неслыханные злодеяния, невероятные подвиги благочестия, мученичество праведных и преступления нечестивых. Чудесные события, предвещения, указания на символическое значение событий обильно насыщают повествование.

Действующими лицами Хронографа, наряду с императорами, церковными властями, царями, полководцами, пророками, были и безымянные герои, что явилось совершенной новостью для проникнутого духом историзма русского летописания, всегда точного в определении тех лиц, о которых велось повествование. В Хронографе нередко действует «некий человек разумен», «воин некий блуден зело», «некие же мужие» и т. д. Об известных исторических лицах Хронограф говорит, как о неизвестных: «сей» Троян, «сей» Констанций и т. д.

Историческое лицо интересно составителю Хронографа не само по себе, а лишь как пример для нравоучения. История — цепь анекдотов, занимательных и поучительных. Хронограф делится не на годовые статьи, как русская летопись, а на ряд рассказов с законченным повествовательным сюжетом. Это небольшие новеллы, оканчивающиеся эффектной развязкой, — наказанием за содеянное, смертью героя, и сопровождающиеся нравоучительными сентенциями. Обычно это раздумье над превратностью исторической действительности, над бренностью всего земного. Так, например, в повествовании о «царстве Коньстянтина Дуки» освобождение Романа из тюрьмы и женитьба его на царице сопровождаются антитезой дворца и тюрьмы, кандалов и царских «бисерных» одежд, «худой» тюремной постели и царского брачного одра. Заканчивалось повествование характерным афоризмом: «Таковы ти суть твоа игры, игрече, коло (колесо) житейское!»⁴⁵

Эти нравоучительные сентенции не только замыкают статьи Хронографа — они сопровождают собою все изложение. Автор как бы руководит читателем, постоянно обращая его внимание на моральную сторону событий, на их

⁴⁵ Полное собрание русских летописей, т. XXII. СПб., 1911. стр. 377 (из Хроники Манассии).

«сокровенный», «вечный», вневременный смысл. Рок, судьба, всесилие бога и бессилие человека — вот темы авторских ремарок. Человека, «обладаемого» божьими «крепкими руками», никто не может убить раньше «уреченного времени».⁴⁶ Автор иронизирует над усилиями людей достичь недостижимого.

Тема «казней божиих» активно звучала и в русских летописях XI—XIV вв., но имела иной характер. Слово «О казнях божиих», помещенное в «Повести временных лет» под 1086 г., говорило о наказании всех людей, о наказании общем для всего народа или государства. Эти страшные кары в виде нашествия врагов, голода, стихийных бедствий, посылались богом лишь за многие грехи и сравнительно редко. Изложение исторических событий не предусматривало в русской летописи немедленного вмешательства бога. Исключения были очень редки и главным образом во вставных произведениях (наказание Святополка в житии Бориса и Глеба, наказание Владимирки в повести Петра Бориславича и др.). Между тем в Хронографе наказание за грехи постоянно наступало немедленно, оно было личным, возмездие с неизбежностью следовало за проступком и на этом строилось в основном все историческое повествование. В русских летописях наказание народа за грехи — наказание, вызывающее сочувствие читателя; в Хронографе наказание исторического лица — возмездие, приносящее нравственное удовлетворение читателю. Эти личные наказания всегда эффектны: мучителя Диоклитиана постигла страшная кара — его язык сгнил, тело его «кипело» червями, он «изрыгнул» злую свою душу, «рыкнув яко лев».⁴⁷

Сами по себе исторические события занимают в Хронографе подчиненное положение. Не события, а личности властителей привлекают к себе внимание автора.

Хронографические статьи открываются обычно характеристикой властителя. Дальнейшее изложение строится как вывод из этой характеристики, как ее иллюстрация или как неизбежное следствие его личного поведения. Вот, например, рассказ о царствовании императора Трояна. Троян царствовал в Риме девять лет; он был «мужь воинчен и победоносен, терпелив и храбр, в судех праведен и неукло-

⁴⁶ Там же, стр. 288 (оттуда же).

⁴⁷ Там же, стр. 262 (из Хроники Амартола).

нен, мерило правде». Затем идет изложение подвигов Трояна и нравоучительный рассказ о том, как Троян дал своему епарху меч со словами: «Аще беззаконне царством владею, ударь мечемь и не пощади живот мой (мою жизнь), аще ли законно и добре исправляю судом праведным, то сей мечь имей мстити мя от враг». Заканчивался рассказ о Трояне нравоучительной сентенцией на тему о беспощадности смерти: «Но и сей убо изчезе от житиа, во многих пожив победах».⁴⁸ Перед нами, следовательно, личная биография императора, иногда сведенная только к характеристике его деятельности.⁴⁹

Естественно, что Хронограф в этих биографиях не стремился к полноте и исторической точности. В отличие от русской летописи, хронографические статьи полны баснословного и анекдотического материала, чудес, видений, вещих снов и т. д. Поскольку личность властителя является основной причиной исторических событий, его характер рисуется обычно в Хронографе с необычайной силой экспрессии. Император — либо злодей, действующий по наущению дьявола, либо герой добродетели. «Поставиша Фоку царем, о горе! — пса беснаго, мужа разбойника, люта и гневълива и убиством дышуща»,⁵⁰ — говорится о Фокке Мучителе. В прямо противоположных чертах дана характеристика Цимисхия: «Другый бяше рай божий четыре реки источаа: правду, мудрость, мужество, целомудрие».⁵¹

Христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Злоба, ярость, гнев, зависть, гордость движут поступками злых. Благочестие и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия, подвигнутые на то ревностью к добру. Отсюда необычайная экспрессивность характеристик, отсюда гиперболы, стремление к грандиозности изображения, пронизывающее и подавляющее изложение.

Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди

⁴⁸ Там же, стр. 254 (оттуда же).

⁴⁹ См., например, описание царствования Михаила Рагавея, сведенное к его личной характеристике (там же, стр. 330—331, из Хроники Манассии).

⁵⁰ Там же, стр. 302 (оттуда же).

⁵¹ Там же, стр. 363 (оттуда же).

проливают «тучи слез», плачут по восемь месяцев, «и рука терзавше власы, и браду, и главою ударяя, и слезами моча землю».⁵² Гнев, зависть служат иногда причиной смерти человека.⁵³ Одержимые страстями люди бессильны совладать с ними. Страсти персонифицируются, предстают в образе диких зверей.

Образы звериного мира, примененные к объяснению человеческой психологии, не случайны в Хронографе. Вся вселенная, с точки зрения средневекового мировоззрения, представляет собою грандиозное «училище благочестия», в котором каждое живое существо является носителем какого-либо скрытого назидательного смысла. Животные символизировали собою человеческие страсти, ереси, вечные истины. Епифаний Кипрский в полемическом сочинении «Аптека» стремится дать целую аптеку с полезными лекарствами от «угрызения» ядовитых животных и пресмыкающихся, под которыми разумеются ереси.⁵⁴ Вот почему в средние века получают чрезвычайное развитие зоологические сказания различных «физиологов» (сборников «естественно-научных» рассказов), звериный орнамент, животные сюжеты барельефов соборов и т. д.

Те же части Русского Хронографа, которые восходят по своему происхождению к Хронике Манассии, обильно насыщены материалом «физиологических» сказаний. Свойства человеческого характера, представленные в звериных образах (ярость — лев, хитрость — лисица), и самые люди, сближаемые со зверьми, получили назидательное истолкование с помощью рассказов «Физиолога». Иногда сравнения со зверями даны в обычной манере афоризмов, иногда же сравнения даются в виде развернутых картин. Так, например, император Никифор Ватаниот, женившийся в старости, пространно сравнивается с златоперой «кикносом», которая, прежде чем сойти в старости в гроб и «скрыться», начинает веселиться.⁵⁵

Обильные сравнения, приводимые в Хронографе из мира животных, имеют в виду главным образом людские

⁵² Там же, стр. 282 (из Хроники Амартола).

⁵³ «Увидев же его Коньстантие самодержеством препоясавшася, яростию разжегся зело. И сего ради в недуг зол впаде и умре» (там же, стр. 274, оттуда же).

⁵⁴ А. Иванцов-Платонов. Ереси и расколы первых трех веков христианства. М., 1877, стр. 297.

⁵⁵ Полное собрание русских летописей. т. XXII, стр. 381 (из Хроники Манассии).

поступки, действия. Они придают изложению необычайную динамичность, усиливают его экспрессивность. «Изскочи убо Роман, яко зверь ис тенеть и яко орел из сети». ⁵⁶ «Огненный дерзостью» Фома наскочил на своего противника «с великим стремлением, яко вепрь из луга и дубравы многодревны, или щенець питаем в горах лвица лютыя и кровоядныя». ⁵⁷

Все движется и живет в повествовании Хронографа. События описываются в нем в резких красках, сравнения из области звериного мира экспрессивны, при этом изложение обильно насыщено психологическими характеристиками. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Если царь зол, то и рать его «злоратная», ⁵⁸ стража его — «злостража», ⁵⁹ сильный ветер «свереподыханен» ⁶⁰ и т. д. Многочисленные эпитеты, всегда оценочные, настойчиво сопровождают изложение. Земля не выносит злодейств императора Фоки Мучителя и испускает «безгласные вопли» на «тигропардоса беснаго». ⁶¹ При ослеплении императора Константина «стихна бо сами о беде плакаху». ⁶² Как одушевленные существа ведут себя и города — Рим, Константинополь, Антиохия, Иерусалим.

Мир всепожирающих зверей, мчащиеся облака, тучи, ветры, бушующее море и отзывающиеся его прибоем берега, молнии, звезды, луна, солнце — все полно одушевленного движения, втянуто в ход истории. Все смятено, все ужасно, все полно тайны и сокровенного смысла.

При этом ничто не неподвижно. Хронограф описывает только действия, поступки. Внутренний мир людей раскрывается через их действия. Храбродушие было заключено в сердце Фоки, как головня в пепле, когда же пришло время действию и когда колесо «злотекущего естества» поставило Фоку на колесницу царства, тогда Фока раскололся, как молния, и обтек все варварские племена, как огонь, который, попав «во юдоль многодревну», гонимый ветром, проходит повсюду, пожирает сад и попаляет холмы.

⁵⁶ Там же, стр. 379 (оттуда же).

⁵⁷ Там же, стр. 336.

⁵⁸ Там же, стр. 303 (из Хроники Манассии).

⁵⁹ Там же, стр. 381 (оттуда же).

⁶⁰ Там же, стр. 304 (оттуда же).

⁶¹ Там же, стр. 303 (оттуда же).

⁶² Там же, стр. 324 (оттуда же)

Эти настойчиво повторяющиеся сравнения и сближения с явлениями природы и самые отклики природы на события человеческой жизни усиливают драматичность повествования, его психологизм. Эта драматичность повествования, своеобразный панпсихологизм, обилие психологических характеристик — все это находится в неразрывной связи с общей эмоциональной приподнятостью изложения. Художественный метод экспрессивного изображения человека пронизывает весь стиль изложения. Хронограф постоянно пишет о чувствах героев и обращается к чувствам читателей. Слезы, рыдания, плач обычны в изложении исторических событий. Особую эмоциональность придают изложению авторские восклицания, вносящие в него субъективизм: «О горе!»; «О всевидящее солнце!»; «О зависти, зверолютый!»; «О солнце и земле!»; «Оле, божиих судеб»; «Оле, оле, доброненавистная душа! Увы, увy, разуме зверовидный».

Иногда эти восклицания переходят в длиннейшие тирады как бы не сумевшего сдержать своих чувств автора. Эти тирады посвящены обычно какой-либо одной нравоучительной мысли: всемогуществу жестокой смерти, бренности всего земного, могуществу золота и т. д. «О злато, гонителю и мучителю прегордый, градовом разорителю! О злато, умягчаеши жестокаго, а мягькаго ожесточаеши, язык отбрьзаеши безгласному, а глаголиваему затыкаеши уста, блещанием своим в желание улавляеши сердца, яко и камение мягко твориши! Кто от пресильна твоеа крепости может избежать?»⁶³ Или: «О зависти, зверюлютый, разбойниче, гонителю, скорпие (скорпион) многожалная, тигру человекоснедный, былка (травка) смертная!» Разразившись этой тирадой, автор оправдывается в своей несдержанности: «...горесть бо душевная глаголати принужаесть».⁶⁴ Такие отступления придают всему повествованию Хронографа исключительную эмоциональность. Автор как бы не может удержать свои чувства, но одержим необходимостью высказаться. Чувства, а не рассудок владеют его пером, он подавлен грандиозностью событий, героизмом благочестивых, подлостью злых. Речь его превращается в сплошной поток: образы, сравнения, эпитеты заполняют текст. Автор не находит точных, необходимых слов для

⁶³ Там же, стр. 301 (оттуда же).

⁶⁴ Там же, стр. 297 (оттуда же).

выражения своих мыслей: он нагромождает синонимы, уснащает речь сравнениями, обильно пользуется неологизмами и т. д., и т. п. Отсюда неопределенность выражений, как бы не отлившихся еще в законченную форму. Отсюда поиски слов и неотвязно повторяющаяся мысль о бессилии человеческого языка выразить переживаемые чувства: хронист отказывается описать «храбрѣства красная добрых царей» и «мужь храбрых» — «их же не мочно языком житиа преплутити».

Автор постоянно подбирает слова и стремится дать как можно больше синонимов: «зловозвѣстница и чародейница и зловолшебная пророчица», «разжизаньми бо и разгоренми плотьскими цветяще», «благообразень и доброзрачен», «долголетен и стар», «тяжкошумящий и съверепогла-сящий», и т. д. Очень часто употребляются полусинонимические сочетания. Так, например, о Василии царе рассказывается, что он отвращался еды и отринул «гладкое», «покоищное» и «слабое» житие, возлюбил же «жестокое» и «бридкое» дело, возлюбил оружие, щиты, шлемы и стрелы «больше услаждающих капель меда и вина».⁶⁵

Из языка Хронографа изгнаны столь обычные в русской летописи просторечные выражения, дипломатические, юридические, ратные термины, даже просто прямые обозначения бытовых явлений. Постоянные и обильные перифразы насыщают речь такими словами как «сиречь», «рекше», «сице»: «доброводный Истр сиречь Дунав»,⁶⁶ «на свет произвести... клас, рекше (иначе говоря) сына родити».⁶⁷

Нагромождение синонимов, перифраз составляет необходимую черту крайне эмоциональных характеристик действующих лиц. Так, например, император Роман был «жесток, гневлив, горд, яролюбив, самомудр...»⁶⁸ Эпитеты почти отсутствуют в русских летописях. В Хронографе, напротив, эпитет составляет существенный элемент стиля, при этом, как вообще в средневековой литературе, эпитет всегда выделяет основные, наиболее постоянные качества объекта: «мясоедный лев», «тольстотрапезная гостьба»

⁶⁵ Там же (оттуда же).

⁶⁶ Там же, стр. 363 (оттуда же).

⁶⁷ Там же, стр. 375 (оттуда же).

⁶⁸ Там же, стр. 380 (оттуда же).

(т. е. угощение), и иногда впадает в тавтологию: «тяжко-гневная ярость», «многовоздыханная стенания» и т. д., и т. п.

Составленный мозаично, из различных источников, Русский хронограф представлял собою в целом произведение единое и стилистически, и идейно. Это единство Хронографа было тесно связано с новым отношением к человеку, к исторической личности, к внутренней жизни человека. Составителя Хронографа интересовала по преимуществу человеческая психология, его изложение было пронизано субъективизмом, он заботился о риторической приподнятости стиля.

*

Экспрессивный стиль в литературе сталкивался со стилем сдержанным и умиротворенным, отнюдь не шумным и возбужденным, но не менее психологичным, вскрывающим внутреннюю жизнь действующих лиц, полным эмоциональности, но эмоциональности сдержанной и глубокой.

Оба стиля имеют аналогии в живописи. В дальнейшем мы вернемся к этим аналогиям. Сейчас же отметим только, что если первый, экспрессивный, стиль близок горячему и динамичному творчеству Феофана Грека, то второй стиль — стиль сдержанной эмоциональности — близок вдумчивому творчеству знаменитого русского художника Андрея Рублева.

Ни живописный идеал человека, ни литературный не развивались только в пределах своего искусства. Идеал человека создавался в жизни⁶⁹ и находил себе воплощение в литературе и живописи. Этим объясняется то общее, что есть между разными видами искусств в изображении идеальных человеческих свойств. Но одно из искусств может быть ведущим для данной эпохи и развивается быстрее других. В XV в. живопись явно опережала литературу.

Своеобразная эмоциональная созерцательность в изображении людей в высокой степени свойственна произведениям Рублева.

Творчеству Андрея Рублева и художников его круга в русской литературе XV в. может быть подыскано только одно соответствие — «Повесть о Петре и Февронии Муром-

⁶⁹ Н. А. Демина. Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга. — Труды Отдела древнерусской литературы, т. XII, М.—Л., 1956.

ских», рассказывающая о любви муромского князя Петра и простой крестьянской девушки Февронии, — любви сильной и непобедимой, «до гроба».⁷⁰

Буря страстей, поднятая в литературе произведениями Епифания и Пахомия Серба, вскипевшая в огромном Русском Хронографе, здесь, в «Повести о Петре и Февронии» сменилась тишиной умиротворенного самоуглубления, эмоциональностью, отвергнувшей всякую аффектацию.

Феврония подобна тихим ангелам Рублева. Она «мудрая дева» сказочных сюжетов. Внешние проявления ее большой внутренней силы скупы. Она готова на подвиг самоотречения, победила свои страсти. Ее любовь к князю Петру потому и непобедима внешне, что она побеждена внутренне, ею самой, подчинена уму. Вместе с тем ее мудрость — свойство не только ее ума, но в такой же мере — ее чувства и воли. Между ее чувством, умом и волей нет конфликта; отсюда необыкновенная «тишина» ее образа.

Необходимо отметить, что «Повесть о Петре и Февронии», возникшая, как я предполагаю, в своей основе не позднее второй четверти XV в.⁷¹, тесно связана с фольклором.⁷² Именно это обстоятельство, думается, прольет со временем свет на происхождение ее стиля — стиля «психологической умиротворенности».

Первое появление в повести девушки Февронии запечатлено в зрительно отчетливом образе. Ее находит в простой крестьянской избе посланец муромского князя Петра, заболевшего от ядовитой крови убитого им змея. В бедном крестьянском платье Феврония сидела за ткацким станком и занималась «тихим» делом — ткала полотно, а перед нею скакал заяц, как бы символизируя собой слияние ее с природой. Ее вопросы и ответы, ее тихий и мудрый разговор ясно показывает, что «рублевская задумчивость» не бездумна. Феврония изумляет посланцев своими вещими

⁷⁰ М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Февронии. (Тексты). — Труды Отдела древнерусской литературы, т. VII, М.—Л., 1949.

⁷¹ См. некоторые соображения в статье В. И. Тагуновой: К вопросу о появлении культа Петра и Февронии Муромских в связи с идейным содержанием их жития и временем возникновения его первоначальной редакции. — Труды Отдела древнерусской литературы, т. XVII, М.—Л., 1961, стр. 338—341.

⁷² М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Февронии Муромских в ее отношениях к русской сказке. — Труды Отдела древнерусской литературы, т. VII, стр. 131—167.

ответами и обещает помочь князю. Сведущая в целебных снадобьях, она излечивает князя, как Изольда излечивает Тристана, зараженного кровью убитого им дракона.

Несмотря на социальные препятствия, князь женится на крестьянской девушке Февронии. Как и любовь Тристана и Изольды, любовь Петра и Февронии преодолевает иерархические преграды феодального общества и не считается с мнением окружающих. Чванливые жены бояр невзлюбили Февронию и требуют ее изгнания, как вассалы короля Марка требуют изгнания Изольды.

Князь Петр отказывается от княжества и уходит вместе с женой.

Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердья, воткнутые в землю, по ее благословению расцветают в деревья. Крошки хлеба в ее ладони обращаются в зерна священного ладана. Она настолько сильна духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей.

В силе своей любви, в мудрости, как бы подсказываемой ей этой любовью, Феврония оказывается выше даже своего идеального мужа — князя Петра.

Любовь их не может разлучить сама смерть. Когда Петр и Феврония почувствовали приближение смерти, они стали просить у бога, чтобы он дал им умереть в одно время, и приготовили себе общий гроб. После того они приняли монашество в разных монастырях. И вот, когда Феврония вышивала для храма богородицы «воздух» для святой чаши, Петр послал ей сказать, что он умирает, и просил ее умереть с ним вместе. Но Феврония просит дать ей время дошить покрывало. Вторично послал к ней Петр, велел сказать: «Уже мало пожду тебя». Наконец, посылая в третий раз, Петр говорит ей: «Уже хочу умереть и не жду тебя». Тогда Феврония, которой осталось дошить лишь ризу святого, воткнула иглу в покрывало, обвертела вокруг нее нитку и послала сказать Петру, что готова умереть с ним вместе. Так и Тристан оттягивает час кончины. «Срок близится, — говорит Тристан Изольде, — разве мы не испили с тобою все горе и всю радость. Срок близится. Когда он настанет, и я позову тебя, Изольда, придешь ли ты?» — «Зови меня, друг, — отвечает Изольда, — ты знаешь, что я приду».

После смерти Петра и Февронии люди положили тела их в отдельные гробы, но на следующий день тела их оказались в общем, заранее приготовленном ими гробу. Люди

второй раз попытались разлучить Петра и Февронию, но снова тела их оказались вместе, и после этого их уже не смели разлучать. Так же точно в победе любви над смертью Тристан спускается на могилу Изольды цветущим терновником (в некоторых вариантах романа тела их тоже оказываются в одном гробу).

Образы героев этого рассказа, которых не могли разлучить ни бояре, ни сама смерть, для своего времени удивительно психологичны, но без всякой экзальтации. Их психологичность внешне проявляется с большой сдержанностью.

Отметим и сдержанность повествования, как бы вторящего скромности проявления чувств. Жест Февронии, втыкающей иголку в покрывало и обвертывающей вокруг воткнутой иглы золотую нить, так же лаконичен и зрительно ясен, как и первое появление Февронии в повести, когда она сидела в избе за ткацким станком, а перед нею скакал заяц. Чтобы оценить этот жест Февронии, обвертывающей нить об иголку, надо помнить, что в древнерусских литературных произведениях нет быта, нет детальных описаний — действие в них происходит как бы в сукнах. В этих условиях жест Февронии драгоценен, как и то золотое шитье, которое она шила для святой чаши.

Чем объяснить этот повышенный психологизм XIV—XV вв.?

Структура человеческого образа в произведениях конца XIV—начала XV в. находится в неразрывном единстве со всем стилистическим строем русской литературы этого времени, с ее содержанием, с философско-религиозной мыслью своего времени, с теми изменениями, которые претерпевало в это время изобразительное искусство. Должно быть учтено также культурное общение Руси этого времени с южнославянскими странами и Византией.

Церковная богословская литература, оригинальная и переводная, дает некоторые пояснения к тем явлениям, которые мы отметили для литературы художественной.

Глава движения исихастов Григорий Палама трактует в своих сочинениях о душевных силах, о человеческих чувствах, внимательно анализирует внутреннюю жизнь человека.

Психологическая теория Паламы представляла собой ярко прогрессивное явление для XIV в. Он обращает внимание на роль внешних чувств в формировании личности.

Палама учит, что чувственные образы происходят от тела. Эти чувственные образы являются отображением внешних предметов, их зеркальными отражениями. Содержание трактата Паламы «Олицетворение» составляет суд между душой и телом, заканчивающийся победой тела.

В сочинениях Григория Синаита и Григория Паламы развивалась сложная система восхождения духа к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучшение, раскрывалась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен был победить свои страсти и отрешиться от всего земного, в результате чего он достигал экстатического состояния созерцания, безмолвия. В богословской литературе встречались сложные психологические наблюдения, посвященные разбору таких явлений, как восприятие, внимание, разум, чувство и т. д. Богословские трактаты различали три вида внимания, три вида разума, учили о различных видах человеческих чувств, обсуждали вопросы свободы воли и давали довольно тонкий самоанализ.

Существенно, что эти трактаты не рассматривают человеческую психологию как целое, не знают понятия характера. В них говорится об отдельных психологических состояниях, чувствах и страстях, но не об их носителях. Чувства, страсти живут как бы самостоятельной жизнью, способны к саморазвитию. Несколько позднее Нил Сорский на основании сочинений отцов церкви (Иоанна Лествичника, Филофея Синаита и др.) различал пять периодов развития страсти: «прилог», «сочетание», «сложение», «пленение» и собственно «страсть».⁷³ Он дал каждому из этих периодов подробную характеристику, основанную в значительной мере на конкретном материале. Таким образом, чувства человека рассматривались у Нила Сорского независимо от самого человека. Страсти обладали у него способностью к саморазвитию. Это все та же психология без психологии, изучение психологических состояний самих по себе, вне единого целого, как чего-то постороннего человеку. Не случайно страсти, «лукавые помыслы», персонифицируются, сравниваются в литературе XV в. со зверями, а сердце злого человека — со звериным логовом, «гнездом злобы».

⁷³ М. С. Боровкова-Майкова. Нила Сорского предание и устав. СПб., 1912, стр. 16 и сл.

Связь нового стиля в литературе с новыми умственными течениями отчетливо может быть замечена на самом составе переводной литературы XIV—XV вв.⁷⁴

Перед нами по преимуществу новинки созерцательно-аскетической литературы исихастов или сочинения, ими рекомендованные и им близкие. Здесь произведения Григория Синаита⁷⁵ и Григория Паламы, а также их жития, произведения патриарха Каллиста и Евфимия Тырновского, Филофея Синаита, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника («Лествица»), Максима Исповедника, Василия Великого, Илариона Великого, Аввы Дорофея, инока Филиппа («Диоптра»), Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова и др.

Печать интереса к христианско-аскетическим темам лежит и на произведениях полусветского характера, распространившихся на Руси именно в это время: на сербской христианизированной Александрии, на Повести о Стефаните и Ихнилате, на апокрифической литературе этого времени и т. д.

Мистические течения XIV в., охватившие Византию, южных славян и в умеренной форме Россию, ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, проповедовали возможность индивидуального общения с богом в созерцательной жизни и в этом смысле были до известной степени противоцерковными. И это относится прежде всего к учению исихастов.⁷⁶

Школа исихастов сыграла выдающуюся роль в культурном общении между болгарами и сербами в XIV в. Это

⁷⁴ А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, стр. 15—24.

⁷⁵ О славянских рукописях с творениями Григория Синаита см.: П. Сырку. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке, т. I, вып. 1, стр. 239—240.

⁷⁶ О связи учения исихастов с еретическими движениями XIII—XIV вв. и о последующем отношении их к русским ересям см. работу: Konrad Onasch. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinischslawischen Orthodoxie. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, I, herausgegeben von Johannes Irmscher. Berlin, 1957. Литература об исихазме указана у В. Н. Лазарева (Феофан Грек и его школа. М., 1961, стр. 19—20). См. еще: J. Meyendorff. St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe. Paris, 1959; J. Meyendorff. Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris, 1959; С. Kern. Les éléments de la théologie de Grégoire Palamas. — Irenikon, XX, 1947; С. Керн. Антропология св. Григория Паламы. П., 1950; об исихазме в России М. S. Rouet de Journel. Monachisme et Monastères russes, Paris, 1952.

общение частично осуществлялось с конца первой половины XIV в. через Парорийский монастырь Григория Синаита, где были монахи — сербы, болгары и греки.

В России исихазм оказывал воздействие главным образом через Афон. Центром новых мистических настроений стал Троице-Сергиев монастырь, основатель которого Сергей Радонежский «божественные сладости безмолвия въкусив».⁷⁷

Из этого монастыря вышел главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в живописи Андрей Рублев (безмолвная беседа ангелов — основная тема рублевской иконы Троицы).

«Безмолвие» исихастов было связано с обостренным чувством слова, с сознанием особой таинственной силы слова и необходимости точного выражения в слове сущности явления, с учением о творческой способности слова.

Сложное учение исихастов, возрождавшее неоплатонические идеи, нуждается во внимательном изучении. Ясно одно: в нем сказался тот же интерес к психологии человека, к «внутреннему человеку» (термин одного из основателей исихазма — Григория Синаита), к его индивидуальным переживаниям, к возможностям личного общения с богом, а также те поиски интимного в религии, которые были характерны для многих культурных явлений XIV в.

Изучая исихазм, мы не должны выделять его из других умственных и религиозных течений того же времени. В частности, несмотря на вражду паламитов и варлаамитов, в учении последних также могут быть отмечены черты нового, как они могут быть отмечены и в собственно еретических движениях XIV в. — в болгарском богомильстве и русском стригольничестве.

Исихазм отнюдь не был ересью в собственном смысле этого слова. Больше того, отдельные исихасты, и в первую очередь сам Евфимий Тырновский, деятельно боролись с ересями, а, одержав победу, исихазм утратил многие свои прогрессивные черты. Но живая связь этого мистического течения с неоплатонизмом, свободное отношение к обрядовой стороне религии, своеобразный мистический индивидуализм составляли в нем типично предвозрожденческое явление.

⁷⁷ Житие Сергия, стр. 57.

Мистицизм в истории общественных движений играл различную роль. Он был характерен для раннего Возрождения на Западе, служил выражением общественного протеста против подчинения личности церковным обрядам, свидетельствовал о стремлении человека к религиозным переживаниям помимо церкви и т. д.⁷⁸

Характеризуя явления подобного рода, Ф. Энгельс писал: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт...».⁷⁹

Исихазм не мог бы оказать влияние на русскую литературу, если бы к этому не было достаточных предпосылок в самом русском обществе. Проникновению психологизма, эмоциональности и особой динамичности стиля в русскую литературу способствовали перемены, произошедшие в русском обществе XIV—XV вв.

Структура человеческого образа в XII—XIII вв. была теснейшим образом связана с иерархическим устройством класса феодалов. Люди расценивались по их положению на лестнице отношений внутри феодального класса. Каждый из изображаемых людей был прежде всего представителем своего социального положения, своего места в феодальном

⁷⁸ Резко отрицательно оценивая культурное значение исихазма, В. Н. Лазарев не может все же не отметить в нем отдельные прогрессивные черты («в исихазме ярко проявилось столь характерное для всего XIV в. стремление к непосредственному индивидуальному общению верующего с божеством, минуя церковный культ» — «Феофан Грек и его школа», стр. 18) и его огромное влияние на прогрессивных художников XIV в. — в частности, на самого Феофана Грека (там же, стр. 29, 40). Если исихазм повлиял на живопись XIV в., а прогрессивное влияние его на литературные школы через исихаста Евфимия Тырновского не подлежит сомнению, то каким образом в исихазме, по уверениям В. Н. Лазарева, не было, «конечно», «ничего „предвозрожденческого“ и ничего „прогрессивного“» (там же, стр. 24). Конечно, не только в исихазме сказывались черты новой эпохи. Их можно заметить и у их противников и в таких явлениях, которые не связаны непосредственно с религиозными спорами своей эпохи. Новое пронизывает собой многие культурные явления. Мистический же индивидуализм и психологизм учения исихастов — явления чрезвычайно важные.

⁷⁹ Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., т. 7, изд. 2-е, М., 1956, стр. 361.

обществе. Его поступки рассматривались прежде всего с этой точки зрения.

Для конца XIV—XV в. характерен идейный кризис феодальной иерархии. Самостоятельность и устойчивость каждой из ступеней иерархии были поколеблены. Князь мог перемещать людей в зависимости от их внутренних качеств и личных заслуг. Центроостремительные силы начинали действовать все сильнее, развивалось условное держание земель, на сцену выступали представители будущего дворянства. Все это облегчило появление новых художественных методов в изображении человека, по самому существу своему никак не связанного уже теперь с иерархией феодалов. Государству нужны были люди, до конца преданные ему, — личные качества их выступали на первый план. Это были такие качества, как преданность, ревность к делу, убежденность.

Внутренняя жизнь, резко повышенная эмоциональность как бы вторглись в литературу, захватили писателей и увлекли читателей.

Это развитие психологизма, эмоциональности было связано также и с развитием церковного начала в литературе.

В отличие от светских жанров (летописей, воинских повестей, повестей о феодальных раздорах и т. д.), в церковных жанрах (в житиях и в проповеди) всегда уделялось гораздо большее внимание внутренней жизни человека, его психологии. Однако в предшествующую эпоху стиль монументального историзма сказывается и в житиях (например, княжеских житиях — Бориса и Глеба, Владимира Святославича Святого, Александра Невского и др.), хотя и выражен он не так отчетливо, как в светских жанрах.

Союз церкви и государства способствовал постепенному оцерковлению всех жанров. Особенно усиливается церковное начало в литературе в эпоху татаро-монгольского ига и главным образом с того времени, как среди татаро-монгольских орд распространилось магометанство. Борьба с татаро-монгольским игом становится не только национальной, но и религиозной задачей. Татары в летописи конца XIV—XV в. постоянно называются агарянами, измаилтянами, сарацинами.

*

Для литературы эпохи Предвозрождения в России были характерны не только стиль, темы, художественный метод,

объединяющие русскую литературу с литературами других южнославянских стран — Сербии и Болгарии, но и обращение к своей национальной старине, к литературе эпохи независимости Руси — к произведениям XI—XIII вв. В литературе конца XIV—XV в. ясно чувствуется влияние памятников литературы домонгольской Руси: «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, «Повести временных лет», «Киево-Печерского патерика», «Еллинского и римского летописца» и, наконец, «Слова о полку Игореве». Влияние всех этих памятников особенно заметно в произведениях, посвященных национально-патриотическим темам.

Куликовская битва, принеся с собой общий народный подъем, вызвала большое число различных произведений: летописных, житийных, повествовательных, фольклорных. Четыре произведения одно за другим возникли в конце XIV—начале XV в. на основе песни и рассказов о «Мамаевщине».

Первоначально возникли все летописные повести о Куликовской битве: краткая и пространная. Затем, после смерти Дмитрия Донского (1389), создается слово «О житии и преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго». Цель составления его — окружить ореолом святости род московских великих князей и тем способствовать укреплению его престижа. Оно помогало идеологически закрепить уже достигнутые успехи московской политики. В пространной похвале, составленной в новой литературной манере, Дмитрий называется «высокопаривым орлом», «огнем, попадающим нечестие», «ветром, плелелы развевающим», «трубой спящим», «воеводой мирным», «венцом победе», «кораблем богатству» и т. д.

Разительной особенностью этого произведения явилось использование в нем народных причитаний. Плачу вдовы Донского — княгини Евдокии — были найдены в народной поэзии многочисленные и очень близкие параллели: «Солнце мое, рано заходиши, — плачет вдовая княгиня по Дмитрии, — месяц мой красный, рано погибаеши, звездо восточная, почто к западу грядеши»; или: «Старые вдовы, потешите меня, а младыя вдовы плачите со мною, вдовыя бо беда горчае всех людей».

Крупнейшее произведение начала XV в. о Куликовской битве — «Задонщина», названная так по месту битвы на Куликовом поле, «за Доном».

Уже первые повести о Куликовской победе, возникшие вскоре после событий 1380 г., характеризуются поисками героического стиля, способного отобразить величие события, и поиски эти привели к лучшим произведениям домонгольской эпохи — эпохи национальной независимости: к произведениям Илариона, к народной поэзии, к «Повести временных лет». В «Задонщине» этот героический стиль был найден: он явился в сочетании художественной манеры «Слова о полку Игореве» и народной поэзии. Автор «Задонщины» верно ощутил поэзию «Слова о полку Игореве», не ограничившись только поверхностными заимствованиями, сумев изложить героические события Куликовской победы в той же художественной системе, в том же художественном замысле, создав произведение большой эстетической силы.

«Задонщина» по существу представляет собою обширное прославление русской победы. Прославление это соединяется в «Задонщине» с элегической печалью по павшим. По выражению автора «Задонщины», — это «жалость и похвала»: жалость по убитым, похвала живым. Моменты славы и восхваления удачно сочетаются в ней с мотивами элегических плачей, радость — с «тугой», грозные предчувствия — со счастливыми предзнаменованиями и т. д. Естественно, что для своего замысла автор «Задонщины» не мог найти лучшего образца, чем «Слово о полку Игореве».

Однако использование «Слова о полку Игореве» сказывается не только в литературной манере автора «Задонщины». Обращение к «Слову о полку Игореве» стоит в связи с исторической концепцией «Задонщины», свидетельствует о чрезвычайной интенсивности исторической мысли начала XV в., о глубине и оригинальности художественного замысла «Задонщины». Автор «Задонщины» имел в виду не только использование художественных сокровищ величайшего произведения древней русской литературы, но вполне сознательное сопоставление самих событий прошлого и настоящего, событий, изображаемых в «Слове о полку Игореве», с событиями современной ему действительности. С точки зрения автора «Задонщины», «Слово о полку Игореве» повествует о начале татаро-монгольского ига, кончившегося после Куликовской победы.

События «Слова» и события «Задонщины» во многом схожи между собой, но битва на Каяле противостоит

битве на Дону, как начало обширного периода чужеземного ига — его концу. Начало и конец «жалости земли Русской» (так называет автор «Задонщины» татаро-монгольское иго) во многом схожи, но во многом и противоположны. События сопоставляются и противопоставляются на всем протяжении «Задонщины». В этом сближении событий прошлого и настоящего — пафос исторического замысла «Задонщины», отразившей обычное в исторической мысли конца XIV—начала XV в. сближение борьбы с половцами и борьбы с татарами как двух этапов единой, по существу, борьбы со степью, с «диким полем», за национальную независимость.

Центральный момент и в «Слове о полку Игореве» и в «Задонщине» — битва с «погаными». И в «Слове» и в «Задонщине» битва драматично развернута в двух эпизодах, но в «Задонщине» последовательность этих эпизодов обратна последовательности их в «Слове». В «Слове о полку Игореве» исход первой половины битвы счастливый, второй — печальный. В «Задонщине», наоборот, первая половина грозит разгромом русскому войску, вторая приносит ему победу. В «Слове о полку Игореве» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск — волки грозу сулят по оврагам, орлы клектом на кости зверей зовут, лисицы лают на багряные щиты русских. В «Задонщине» те же зловещие знамения сопутствуют походу татарского войска: птицы под облака летят, вороны часто грают, а галицы свою речь говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы на костях брешут.

В «Слове о полку Игореве» «дети бесови» (т. е. половцы) кликом поля перегородили; в «Задонщине» же русские сыны широкие поля кликом огородили.

В «Слове» черна земля под копытами была посеяна костями русских; в «Задонщине» же черна земля под копытами костями татарскими была посеяна.

В «Слове» кости и кровь русских, посеянные на поле битвы, всходят «тугою» по Русской земле; в «Задонщине» же восстала земля «татарская», бедами и «тугою» покрывшись.

В «Слове» тоска разлилась по Русской земле; в «Задонщине» же по Русской земле простерлось веселие и буйство.

В «Слове» поганые приходили со всех сторон с победами на землю Русскую; в «Задонщине» же сказано о та-

тарах, что уныло царей их веселие и похвальба на Русскую землю ходить.

В «Слове» готские красные девы звенят «русским» золотом; в «Задонщине» же русские жены восплескали «татарским» золотом.

«Туга», разошедшаяся в «Слове о полку Игореве» после поражения по всей Русской земле, сходит с нее в «Задонщине» после победы русских. То, что началось в «Слове», кончилось в «Задонщине». То, что в «Слове» обрушилось на Русскую землю, в «Задонщине» обратилось на ее врагов.

Особенно удачно противопоставление в «Задонщине» полдневного жаворонка, «летней птицы, красных дней утех», полночному соловью в «Слове», — противопоставление, отражающее общее радостное содержание «Задонщины» сравнительно с элегическим содержанием «Слова».

Начало того исторического периода, с которого Русская земля «сидит невесела», автор «Задонщины» относит к битве на Каяле, в которой были разбиты войска Игоря Северского: «Задонщина» повествует, следовательно, о конце эпохи «туги и печали», эпохи чужеземного ига, о начале которой повествует «Слово о полку Игореве».

Центральная идея «Задонщины» — идея отплаты. Куликовская битва рассматривается в «Задонщине» как отплата за поражение, понесенное войсками князя Игоря на Каяле, сознательно отождествляемой автором «Задонщины» с рекой Калкой, поражение на которой в 1224 г. явилось первым этапом завоевания Руси татарами. Вот почему в начале своего произведения автор «Задонщины» приглашает братьев, друзей и сынов русских собраться, составить слово к слову, возвеселить Русскую землю и ввергнуть печаль на восточную страну, на страну исконных врагов — татаро-половецкую степь, провозгласить победу над Мамаем, воздать похвалу великому князю Дмитрию.

Сопоставляя события прошлого с событиями своего времени, автор «Задонщины» тем самым ориентировал и само «Слово о полку Игореве» на современность, придавал новое злободневное звучание его содержанию, давал новый смысл призывам «Слова о полку Игореве» к единению, во многом проделывая ту же работу, что и московские летописцы, введшие в обращение аналогичные идеи «Повести временных лет». Идеи эти сыграли существенную роль в объединительной политике московских князей, в истории сложения русского национального государства.

Сложный художественный замысел «Задонщины» отчетливо свидетельствует о высокой литературной культуре Москвы. Это замысел, в котором тонкая историческая мысль находит исключительно оригинальное художественное разрешение. Это произведение, написанное ученым для ученых же и для литературно искушенных читателей.

В середине XV в. было создано еще одно произведение на ту же тему, получившее чрезвычайное распространение на Руси в XV, XVI и XVII вв., — «Сказание о Мамаевом побоище». Оно неоднократно переделывалось впоследствии, и соотношение его редакций составляет один из самых сложных вопросов изучения древнерусской литературы.

Содержание событий подверглось здесь значительному оцерковлению. Изложение прерывается нескончаемыми молитвословиями, морализированием, благочестивыми рассуждениями. Моральные оценки татар и русских усилены; краски даны слишком резко, контрасты увеличены. Победа изображена как неизбежная, отчего «Сказание» теряет в занимательности. Гордость и злоба татар резко противопоставлены смирению русских. Все повествование окрашено типичным для XV в. сентиментализмом: оба брата — Дмитрий Донской и Владимир Серпуховский — нежно любят друг друга и т. д. Художественные описания в «Сказании» заимствованы из «Задонщины», но образы «Слова о полку Игореве» потеряли уже свою связь с замыслом всего произведения в целом.

Ценность «Сказания» — в тех новых эпизодах, которые оно дает сравнительно с предшествующими произведениями о Мамаевщине. В основе некоторых из них лежат, очевидно, заимствования из народной поэзии, из каких-то эпических народных произведений о Куликовской битве. Таков, например, эпизод единоборства монаха — богатыря Пересвета с татарским исполином. Таков и эпизод с гаданием: в теплую и ясную ночь перед боем князь Дмитрий со своим спутником Дмитрием Волынцем выезжают в поле гадать по приметам о грядущей битве: они прислушиваются к земле, к крикам зверей и птиц, присматриваются к огням обонх станов.

Мы далеко не исчерпали круг произведений, возникших в XIV и начале XV в. Это и не входило в наши задачи. Верные своей теме, мы хотели только представить наиболее характерные для эпохи русского Предвозрождения черты русской литературы.
